

0-38

№ 1•1982
январь—март

ШТНМ
КУЗБАССА

516002





ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 34-й

№ 1(74)



393505

В НОМЕРЕ:

СТИХИ

КАКОЙ ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖИМ

Геннадий Юров. Встреча	3
Николай Колмогоров. «Как странно это...» Из юности. «Осенней бури краткие часы...», «Небожитель туман- ный...», «Полевые цветы и березы...»	4
Сергей Донбай. Поездка на БАМ	6
Иван Полунин. «Весло покрылось инеем...», «Лежит листва...», «Тишина заиндевелая...», «Пока мы на ноги детишек ставили...»	6
Александр Ибрагимов. Алтайская записка: Перевал Кузу- як. «Зеленеет внизу долина...» Милосердник. На Алтае	7

ПРОЗА

Владимир Мазаев. Поездом. Сентиментальная повесть	9
Виктор Моисеев. День, вырванный у горы. Рассказ	33
Виктор Чугунов. Дашенька. Рассказ	42

К 400-ЛЕТИЮ ВХОЖДЕНИЯ СИБИРИ
В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Михаил Сорокин. На Томи-реке 47

ВРЕМЯ — ЛЮДИ — СУДЬБЫ

Мэри Кушникова. Чалдонский корень 57

Василий Сиводедов. А. Т. Твардовский: письма и встречи 62

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Геннадий Естамонов. Три сестры 69

О ПЕРВОЙ КНИГЕ МОЕГО ТОВАРИЩА

Владимир Матвеев. Серьез в шутилой оправе 75

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Бронислав Абрамов. Попутная машина 78

Владимир Ширяев. Весеннее предложение. Баллада о теор-
ии относительности. Волки 79

Первую, вторую и третью страницы обложки оформил художник Герман Захаров: из серии, посвященной 400-летию вхождения Сибири в состав Русского государства.

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, С. Л. Донбай,
Г. А. Емельянов, В. Ф. Зубарев (отв. секретарь), И. М. Киселев,
В. Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев, В. В. Махалов,
З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Т. И. Махалова. Художественный редактор
А. С. Ротовский. Технический редактор Г. Н. Манохина. Кор-
ректоры Е. И. Тимощук, В. А. Лузина.

Сдано в набор 20.11.81. Подписано к печати 27.01.82. ОП07001. Формат
70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Гарнитура Литературная. Печать
высокая. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,44. Уч.-изд. л. 7,99. Тираж
7000 экз. Заказ № 19404. Цена 50 к. Кемеровское книжное издательство.
Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Ке-
мерово, ул. Ноградская, 5.

О 70500—13
М 145(03)—82 28—82—4702000000

© Кемеровское книжное издательство, 1982

КАКОЙ ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖИМ

Геннадий Юров

ВСТРЕЧА

А для начала путь совсем недлинный.
Спускаюсь к Томи.
Раскачивая мост,
Пересеку вечернюю долину
Под взглядом сосен,
Вставших в полный рост.

Я поднимусь по берегу крутому —
На старой улице
Родных коснуться стен...
И вдруг подумаю,
Что эта тропка к дому
И есть дорога на Абориген.

И вот я вижу чистый ключ в овраге.
Навстречу,
Лаем яростным звеня,
Бегут потомки
Милой той дворняги,
Что другом детства стала для меня.

Вот крыша светлая,
Мне кажется — седая.
Мой деревянный двухэтажный дом
Над выработкой шахтной оседает
И кренится
Надломленным крылом.

Он выживет как память и поверье.
Я за его бессмертье поручусь.
И вот стучусь
Я осторожно в двери,
Как будто я
В прошедшее стучусь.

Хозяйке сообщаю виновато
Совсем необязательную весть:
— Вы извините,
Я здесь жил когда-то,
И даже больше —
Я родился здесь.

В чужом уюте
Выбеленных комнат,
Где вещи вовсе не знакомы мне,
Уже ничто о детстве не напомним...
Вот разве что
Черемуха в окне.

Да силуэт туманный коксохима.
Да воробьи устроили содом.
Да речка,
Пробегающая мимо,
Видна отсюда
Синим лоскутом.

И что мне душу высветило ярче
Черемухи, завода и реки —
Хозяйка говорит:
— Родился мальчик,
Уснул,
Утихомирился-таки...

И замер я.
Спит мальчик в колыбели.
Его недели все наперечет.
А воробьи свои выводят трели.
И солнце светит.
И река течет.

Ему сейчас и сны-то видеть рано.
Что он запомнил?—
Утро и зарю...
А я, когда смотрю на мальчугана,
Я на себя — далекого —
Смотрю.

Он выйдет в мир дорогами моими,
В мои леса, снега и облака...
Я спрашиваю:
— Как у парня имя?
— Вот имя не придумали пока.

Спит в колыбели мальчуган хороший
И руки безмятежно распростер —
Евгений,
Емельян,
Роман,
Алеша
Иль Ярослав...
Для имени — простор!

Родился человек.
Его приметы?
Их нет пока...
Проснулся, бросил взгляд...

Что скажешь нам,
Абориген планеты,
Обитатели по имени Земля?

...Ее родник,
Ее побег зеленый,
Рассветный лучик,
Стебелек травы...

Вдруг чувствую:
Он смотрит изумленно
И вопрошающе:
— Что скажете мне вы? /

Николай Колмогоров

* * *

ИЗ ЮНОСТИ

Как странно это, как душе легко
увидеть землю заново!..

Как зримо!—

К холму припав, лишь семечко легло,
а вот уж лес шумит непобедимо!
За горизонт, за край сдвигая синь,
над ним гроза полнеба заслонила,
и сумасшедшим смерчем из пустынь
несется громящая сила!..

Но длится миг, и следом — погляди—
на взгорье том, где битва

скрежетала,

иных времен усилья и труды
мечи перековали

на орала!..

Летят века, стал тесным отчий дом —
и человек в открытый космос вышел.
Один пока... Но с грезой о том,
что братьями по разуму — услышан!
Все дальше он, шаги его смелей,
его несет во тьму огонь познания!
Но странно это: чище и нежней
встает Земля, о ней воспоминанья...

Алмазными гребнями по-над проливом
отроги Чукотки сверкнули глазам.
И ржавый буксир, перегруженный

дымом,

взбирается, падает, льнет

к небесам.

А воздуха сколько! А чайки

над морем!

Столбы облаков каменеют вдали.
Вот горкою соли, намытой прибоем,
блестит городок на обрыве земли.
Волна подбирается... Где же ты, суша?
К гортани подпрыгнуло сердце

навзрыд!

В прозрачную пропасть видение руша,
Живым кашалотом стихия кипит!
Всем трюмом гремят ошалевшие
бочки,

а руки вцепились в скобу добела...

Но это начало, но это цветочки,
а юность —

мосты отступленья сожгла!

Как в песне поется, туманной порою,
чуть жизни заря занялась впереди,
соленой судьбы захотелось герою
на взлете вчерашних своих

двадцати.
От школьной скамьи, от солдатской
шинели
еще не отвыкнув, он встал у черты:
о родина милая, о неужели
вот этим утесом кончаешься ты?!..

* * *

Небожитель туманный, поэт,
как ты скоро на землю спустился!
По прошествии тысячи лет
современником быть научился.
Но природы и звезд, и страстей
на родные слова переводчик,—
водит с детства

рукою твоей
по-ребячьи изломанный почерк.
Там, на кухоньке тесной ночной,
где за миллионами окон
человечества ветер сквозной,
пролетая, гремит между стекол.
Он шумит отголосками дней,
он видений толпу поднимает!
Тень Бояна мерещится в ней,
Игорь к битве полки собирает!..
В этот час, отрешенный уже
от судьбы и ее многоточий,—
ты и бог, и ребенок в душе,
разрушитель и все-таки зодчий.
Меры нет — воедино ты слит
из всего, что и есть мирозданье.
Это через тебя говорит
все гремучее пламя познания!
Так открой же препоны в груди,
открылись между твердью и высью,
сизым соколом в небо лети,
растекайся по дереву мысью!..

* * *

Осенней бури краткие часы
мне хорошо встречать
под листопадом!

Забывшее волнение души
открылось просветлевшим перекатом!
Вновь рокотом столетних тополей
до чердаков

наш пригород озвучен,
и грозный ветер северных полей
остановил течение излучин.
Он разметал по саду шапки гнезд
и где-то ахнул кровельным железом,
и, перелески выстудив насквозь,
вздымает пыль над угольным
разрезом!

Одежда лета рвется и ревет.
И кажется: он и меня поднимет,
в клубящейся воронке вознесет,
покажет мир...

и дух из тела вынет!
И я не прочь взлететь, как журавли,
ведь счастья птицы я еще не знаю!
Но почему от матери земли
объятия свои не открываю?..

* * *

Полевые цветы и березы
перепутаны ливнем вокруг!
Косогоры, не высушив слезы,
улыбнулись клубникою вдруг.
Пионерского лагеря крики
пробираются в хвойной стене.
Чабреца, горицвета, черники
затененные сны в глубине...
Вот и солнце!

И в это мгновенье
еще раз — у холма на краю —
преломить синеву обновленья
через летнюю душу свою.

Сергей Донбай

ПОЕЗДКА НА БАМ

Как незнакомое, но близкое
Лицо предстало предо мной —
Летит по рельсам транссибирское
Свиданье наше со страной.

Сентябрь. Якутия. Дыханье
Ручьев пообметало льдом.
И натекает расстояние
От дома — верится с трудом!..

Здесь, за плотиною Урала,
Так приросло пространство к нам,
Что крупная слеза Байкала
Подступит невзначай к глазам.

И легче яблоневои ветки
Цветут вершины снежным сном
С продрогшей стороны планеты —
Над Яблоневым хребтом.

И — как биолог к микроскопу —
Прищурясь и склонившись над
Землей, развернутой к востоку,
Здесь БАМ поправил космонавт;

И поезда идут замедленно —
Покряхтывает магистраль.
Но все заметнее, заметнее
Сталь, убегающая вдаль.

В осенней тындинской улыбке
Уже все явственней видны —
В чернильных кляксах голубики —
Все школьники моей страны;

И над разбуженным пространством
Уже как будто там и тут —
По станциям и полустанкам —
Их судьбы взрослые живут.

А взглядом в прошлое прицелься,
И мысль взойдет из глубины:
Почти столетие прищельцем
Тунгусским мы освещены.

На свет и звук — огонь и голос —
Мысль оглянулась, навсегда.
Сибирь, развернутая в космос, —
Ракета, Родина, Звезда.

Иван Полунин

* * *

Весло покрылось инеем,
Ледком лодчонка схвачена.
А там, за речкой синевой,
Твоя любовь утрачена.

Пройдусь я, опечаленный,
Поздней печаль уляжется.
Лодчонкою причаленной
Мне жизнь моя покажется.

Увижу ль небо синее
В краю, где ты, далекая?
...Весло покрылось инеем,
Как сердце одинокое.

* * *

Лежит листва полуживая:
Над садом разразился град.
Он, точно гвозди забивая,
Стучал по столбикам оград.

Стучал по крышам ошалело
И вдруг затих...
А над рекой
Заря так низко заалела,
Что до нее — подать рукой!

Алела, словно согревая
Своим румянцем тихий сад.
И все ж листва, полуживая,
Как прежде ощущала град...

* * *

Тишина заиндевелая.
Воздух крепок.
Воздух лют.
Предо мною — скатерть белая,
Только нет волшебных блюд.

Есть щепы, да сучья хвойные,
Да костер на всех —
Один...
Мы кромсаем сосны стройные —
На красавиц не глядим.

Ухнет где-то высоченная
И затихнет, как струна,
Что мелодией плачевною
Душу трогала до дна.

И могла разлить
Задорное,
И меня туда увлечь,
Где встречался
С непокорною,
Пламенел от этих встреч.

Называют старой девою
Ту весеннюю красу...
Тишину заиндевелую
Я знакомке принесу.
А пока в тайге поплаваю —
До серебряной росы...
Медлят стрелки:
То ли ржавые,
То ль испортились часы?

* * *

Пока мы на ноги детишек ставили,
Себя растратили,
Себя состарили.
Срывался в беды я,
Как будто в проруби,
И снегирами мне казались голуби.

А ты, устойчива душой и разумом,
Двойною лямкою была обвязана
И в лучшей участи
Была уверена...
Так что же найдено, а что утеряно?
Находки редкие —
Утраты частые,
Пусть наша молодость
В ребятах здравствует!

Александр Ибрагимов

АЛТАЙСКАЯ ЗАПИСЬ

ПЕРЕВАЛ КУЗУЯК

* * *

Гроздья черемух и облака,
Черный шиповник.
И перевал, похожий слегка
На подоконник.
Темно-зеленая в ленточках ель
Взору предстала.
И в голубую играет свирель
Дух перевала.
Вон засверкали, как из окна,
Снежные улы...
Черная кислица, облако сна,
Зарев косули.

Зеленеет внизу долина,
А в горах предпраздничный снег!
Это осень неумолимо
Начинает с вершин разбег.

Среди елей темно-зеленых
Желтых перьев не перечесть.
Это осень на горных склонах
Наряжается в нашу честь.

Мы вершину взяли как надо.
Под ногами — рельеф земной.

Но космическая громада
Нас вдавила в пик ледяной.

Каждый сжался, как у подножья
Той вершины, что взять не смог.
И божественное бездорожье
Засияло у самых ног.

Мы спустились в связке. И вправе
Полежать на альпийских лугах.
Рюкзаки еще на переправе,
Ну а мы — уже в городах.

И струятся, как на экране,
Лица, листья и шорох шин... —
Это осень на дельтаплане
Долетела с горных вершин...

МИЛОСЕРДНИК

Утром проснулся... А горы! —
Вот они! — снежный надзор.
Как головные уборы
Всемилосердных сестер.

Домик больничный в долине,
Вечнозеленой почти...
Братик оживший, отныне
Силы природные чти.

Свет невозможный с востока
Над головою взойдет.
Жук, как зеленое око,
На подоконник ползет.

Братик оттаявший, здравствуй.
Здравствуй, жучок-носорог.
Легкое облако странствий
Переступило порог.

Кончилось время ночлега.
Благодарю за покой.
Горстью высокого снега
Лоб остужу за рекой.

А над уютной долиной
Воздух — единый кристалл.

Стертый со склона лавиной,
Целым я заново стал.

Красный живительный крестик
Вышит на горном снегу.
Это цветок Милосердник.
Дарят даже врагу.

НА АЛТАЕ

Безбрежна синева веков.
Прозрачный в глубь себя обзор,
И великаны облаков
Выглядывают из-за гор.
Себя ты сверху узнаешь
И снизу радостно глядишь.
Ведь это ты к себе идешь
И с тем идущим говоришь.
Ты на тропе своей один.
Свои не помнишь имена.
В книгохранилищах долин
Костров осенних пламена.
И буквы перелетных птиц,
И снежных пиков пересверк.
В разломах каменных страниц
Кипящий жемчуг горных рек.
Но лиственницы не листать
Тебе трепещущей рукой.
Подсвечник горный не искать —
Сияющий в тебе покой.
В преображение сентября,
В самосожжении рябин...
И дверь в полнеба отворя,
Ты дышишь воздухом долин.
И смотришь, как идет вниз,
Поглядывающий из-под век,
Похожий на твою слезу
На горном склоне человек.
Еще тебя боится зверь
И ты спасительно могуч.
В приотворенную ту дверь
Сквозит в долину светлый луч.
И ты на этот свет идешь,
Скользишь у трещин ледников.
И у двери себя ты ждешь
В единой синеве веков.

ПРОЕЗДОМ

Сентиментальная повесть

Самые откровенные люди в лучшем случае правдивы в том, что говорят, но они лгут уже одним тем, что говорят не всё.

Руссо, «Исповедь»

1

Я возвращался скорым поездом из очередной рабочей командировки. По специальности был я в те времена инженер-наладчик. Поточные линии, изготавливаемые нашим заводом, внедрялись на предприятиях легкой промышленности во всех концах страны. Был я как специалист у начальства на счету, молод, легок на подъем, безотказен, поэтому мотаться и жить вне дома мне приходилось частенько и подолгу.

Через вагонную трансляцию объявили город, к которому мы подъезжали, и я тотчас вышел из купе, встал у окна. Замелькал пригород, переезды с очередями автомашин — эти анахронизмы провинции, — длинные унылые ряды гаражей, сады и огороды в июньской кипени.

Несколько лет назад мне уже пришлось быть в этом сибирском городе. Мой приезд тогда был связан с работой на фаянсовом заводе, на котором монтировалась наша конвейерная линия. Линия долгое время не шла, капризничала, и командировка моя затянулась — чуть ли не на полгода. Я с интересом сейчас и слегка волнуясь глядел на поплывшие мимо многоэтажные кварталы, на здания-кубы из

стекла и серебристого бетона, удивлялся: когда все это успели нагородить?

Потом поезд, замедляя ход, пошел по насыпи, мелькнул кусочек дальней городской панорамы — курящиеся высокие трубы заводов, плавный изгиб реки с песчаным островом посередине и знакомая мне пестрая горбатая шуба соснового бора над ней, — тут я уже по-настоящему разволновался...

В наш вагон сели на стоянке несколько пассажиров — три или четыре женщины и один мужчина. Я невольно обратил на него внимание. Высокий и стройный, хмурое озабоченное лицо, лет тридцати семи. В одной руке нес он чемодан и мятую хозяйственную сумку, а другой держал за руку мальчика лет пяти — шести. Мальчишка был крепыш, с крутолобой стриженной головой. Когда они по проходу протискивались мимо меня, я заметил на округлом затылке у мальчишки два задорных вихорка. Как говорят, два затылка. По шуточному народному поверью, тот, у кого два затылка, будет в жизни женат дважды. Я это прекрасно знал — у меня у самого было два «затылка», и в детстве я по этому поводу не раз терпел насмешки сверстников.

Или этой «родственной» чертой, или чем другим — мальчишка сразу как-то стал мне

симпатичен. Вскоре поезд снова катил, то ныряя в таежные сопки, то вырываясь на простор чахлых заболоченных березняков.

В зеркальную дверь моего купе протиснулась любопытствующая, уже знакомая мордашка — новый пассажир совершал обход вагона. Я подозвал мальчика, угостил яблоком, и мы стали друзьями.

Через несколько минут заглянул озабоченный отец мальчика, спросил, не мешает ли малыш, я уверил, что нисколько.

Мужчина был смугл, черноволос, а у мальчишки и брови, и даже ресницы были рыжеваты. И я, чтобы наладить, как говорится, контакт, заметил шутливо (и тут же понял — не очень тактично) насчет этого их внешнего несходства.

Мужчина — ответить бы тоже шуткой — глянул вдруг растерянно и в то же время вызывающе, привлек мальчишку к себе, к своим коленям, сказал сухо:

— Это мой сын.

Я был откровенно смущен такой неожиданной реакцией. Какое болезненное самолюбие, подумал я. Мужчина потискал плечики прижавшегося к нему мальчишки. Как бы внутренне успокаиваясь, обронил: извините.

Минуту или две в купе длилось молчание, только бесечно на мальчишеских зубах похрустывало яблоко.

— Шурик, — сказал мужчина, — ты бы не бегал по вагону, побыл тут с дядей, а я схожу в вагон-ресторан, куплю тебе чего-нибудь поесть. Вы не возражаете? — последний вопрос был адресован мне, в нем как бы заключено было прощение за мою бестактную шутку.

Я не возражал, разумеется, и мы с Шуриком остались вдвоем.

На диване валялся иллюстрированный журнал. Шура полистал его, посмотрел картинки, потом попросил у меня карандаш. Такового не нашлось, я полез в свой дорожный баул, вытащил коробочку фломастеров. Дома меня ждала дочка трех лет, она была у меня большой любительницей рисовать фломастерами, этот подарок я вез ей.

На скучной картинке весенней березовой рощи Шура стал сосредоточенно пририсовывать к голым веткам какие-то кругляшки.

— Что? Яблоки выросли? — спросил я.

— Ну! — ответил Шура серьезно. — Это на деревьях напухли бочки.

— Набухли почки, — поправил я.

Шура вскинул на меня свои зеленоватые чистые глаза, сказал:

— И говорю же: напухли бочки!

Я решил переменить тему и спросил, сколько ему лет. И он ответил, что пять с половиной.

Что еще можно спросить у малыша? И я спросил:

— А где твоя мама?

— В больнице, — сказал Шура, не отрываясь от рисунка.

— А куда вы с папой едете?

— К бабушке. Я там буду жить, пока мама не поправится.

— А кто у тебя мама?

— Художница, — сказал Шура.

— Художница? Она что, рисует картины?

— Нет, чашки.

— Чашки? Это как?

— Ну, еще тарелочки, — добавил Шура.

Я замолчал. Опушенный затылок мальчика с двумя крутыми завитушками склонялся то вправо, то влево, и синхронно этому высовывался розовый кончик языка. Работа шла всю. Березовая роща уже изнемогала под массой изумительно набухших почек. Я осторожно намекнул ему на это. Он возразил:

— А листочков, что ли, бывает мало?

Я подумал: да, действительно.

Наступило молчание.

— Твоя мама работает на фаянсовом заводе? — не унимался я.

— Ага, на заводе.

Я снова умолк. Шура взглянул на меня. Приняв мое молчание за непонятливость, воскликнул:

— Ну дядя! Вы чай пьете?

— Пью, — сознался я.

— Ну вот, а на чашке нарисовано, это мама рисовала!

— Ну-ну... — поспешил понять я.

Продолжал гулять по роще неутомимый фломастер. Правда, теперь уже другого цвета — желтого. Вмиг вырос частокोल ромашек. Под ними возникло нечто продолговатое, на четы-

рех ходульках, как если бы на длинную палочку накололи батон.

— А это что? — поинтересовался я.

— Это моя собачка Булька.

— У тебя есть собачка?

— Нет, — сказал твердо Шура. — Я только хочу.

Он наконец оторвался от рисунка, оглядел пристрасно, потрогал фломастеры других, еще не опробованных им цветов, однако места больше не было, он задумался.

День клонился к вечеру. Солнце за окном стремительно летело сквозь хвою придорожных посадок. Было жарко. Щеки у Шуры размялись, капельки заблестели на верхней губе и переносице.

— Давай снимем свитерок, — предложил я.

— Давай! — охотно согласился Шура и протянул мне руки. — А то он чешется.

Сдергивая с мальчика свитерок, я ощутил его плотное, крепкое тельце. Теперь он сидел передо мной в беленькой трогательной маечке, взъерошенный тугим воротом свитерка, весь точно просвеченный сквозь мутноватое стекло закатным солнцем, — живой человек, уже твердо знающий, что листья на деревьях получают из почек, что у него будет собачка по имени Булька, и что цветы на чашках, из которых все пьют чай, рисует его мама.

— Шурик, а как зовут твою маму?

— Маму зовут Аделина Григорьевна.

Я медленно отклонился к жесткому дермати́ну диванной стенки. Вынул платок, тщательно вытер лицо, шею. Ослабил галстук. В этих цельнометаллических поездах вечно не работает принудительная вентиляция. Дуге-губка, а не вагон. И окно не опустишь — заклинено вмертвую.

На столике лежал блок сигарет, нераспечатанный. Его белые, глянцево-чистые бока привлекли внимание мальчика. Хитренько взглянув в мою сторону, он потянулся к блоку фломастером.

— А вот этим дяди будут недовольны, — противно-назидательным голосом произнес я.

Шура остановил руку, встревоженно спросил:

— Какие дяди?

— Что едут со мной в купе. Они сейчас ушли играть в преферанс.

— В префе... в как играть?

— В преферанс.

— Я такой игры не знаю. — Шурины рыжеватые бровки озабоченно сдвинулись.

— Ну и слава богу, — пробормотал я, встал и с силой откатил дверь — дышать было нечем. Прежде чем дверь откатилась, я увидел в ее зеркале себя — в первое мгновение не узнал, мелькнуло: кто? Раздернутый галстук, плотно сжатый рот, волосы прилипли ко лбу, уставившиеся на меня в упор глаза растеряны. Нелепость, но тут же следом подумалось: ведь мы никогда не видим себя, свое лицо в минуты смятенности, горя, гнева, душевного потрясения. Вот почему мы, наверное, так плохо знаем себя.

В проходе гуляла та же зыбкая вагонная духота. Опершись о дверной косяк, я медленно обернулся.

— Шура, а сколько тебе лет?

— Пять же с половиной, сказал! Вы, дядя, уже спрашивали. — Шура явно жалел, что приобрел себе такого туповатого друга.

Мимо по качавшемуся проходу сновали пассажиры, отталкиваясь от стенок и поручней руками. Поезд, выйдя на простор транссибирской магистрали, несся с бешеной скоростью. За окном взлетали и падали провода. Металлический косяк передавал мне свою глухую напряженную дрожь.

В конце вагона показался Шурин папа с охапкой бумажных свертков.

— Шурик! — позвал он, заглядывая в наше купе. — Идем к себе, обедать будем. Скажи дяде спасибо.

— Спасибо! — Шурик заелозил попкой, сползая с дивана. Фломастеры сразу же были забыты, а с ними забыт и я — случайный и не очень интересный попутчик.

— Свитерок не забудь, — сдавленно под-сказал я.

Мальчик схватил свою одежку и выбежал, неловко ткнувшись об меня голым плечиком.

Я остался в купе один.

Сейчас я частенько, особенно в часы одиночества, пытаюсь мысленно вернуться в ту поездку, вызвать в памяти ускользящее лицо

мальчика, его глаза. Каждый раз при этом во мне что-то обрывается. Точно уходит кусочек жизни. Меня охватывает нечто схожее с душевной паникой; я чувствую в себе фаталиста, убежденного, что даже случайности в нашей жизни каким-то высшим судом оговорены.

Перегон попался на редкость затяжным. Я сидел, отрешенно глядя в окно. Вот уже два часа без устали гроыхает наш поезд, змеятся ленты перелесков, взблескивают плоские озера с кочковатыми радужными берегами; изхлестанные дороги убегают неизвестно куда — в степь, в маревую дымку заката, и остановки как будто не предвидятся.

И вдруг я, цепenea в душе, мучительно ощутил, как ноет у меня то место на бедре, о которое мальчишка, выбежав, ударился голым мягким плечиком...

Я крепко, до ряби в глазах, потер ладонями лицо, горло. Все остальные мои движения принадлежали другому человеку, которого я в себе до этой минуты не подозревал. Я вынул баул и побросал в него свои дорожные вещи. Сдернул с шеи галстук и кинул туда же. Первым попавшимся фломастером из рассыпанной на столике пачки я на сигаретном блоке (к которому Шуре-то запретил прикасаться) черкнул несколько слов, чтоб попутчики не посчитали меня потерявшимся.

Потом взял плащ и ушел в тамбур соседнего вагона. Мне не хотелось встречаться со своими преферансистами, объяснять свой поступок. Да и мог ли я что-то вразумительно объяснить?

На первой же станции я сошел.

Всю ночь, показавшуюся мне бесконечной, я просидел, продремал — то в тесном и душном зале ожидания, то на скамейке у входа в вокзал, склонившись на баул. И ночные часы эти были переполнены обрывками томительных полуснов-полувоспоминаний, моей душевной смятенностью.

2

В город обратным поездом я вернулся в жаркий полдень.

Выйдя на привокзальную площадь, от которой лучами расходились главные улицы горо-

да, я остановился. Я подумал при этом: если мальчика решили увезти к бабушке, значит, дело серьезно.

В киоске горсправки я попросил адреса всех крупных больниц. Мне дали три адреса, один из них я сразу выделил в наиболее вероятный. Я взял такси и уже через полчаса стоял перед воротами обширного больничного городка. В мою бытность здесь, помнится, была еще пустынная заболоченная окраина и только велись осушительные работы. Сейчас за невысокой из дырчатых бетонных плит оградой, обсаженной линией молодых тополей и березок, возвышались несколько трех- и четырехэтажных корпусов. Зеленъ полян пересекалась узенькими асфальтированными дорожками.

В фойе главного корпуса я отыскал окошечко справочного. Белый кафель стен, белые плафоны, белая эмаль мусорниц, бело-матовое стекло служебных перегородок — все это тревожно ослепило, даже несколько придавило меня. Люди, что-то ожидавшие в низких креслах вдоль стен и стоявшие в небольших очередях к разным службам, разговаривали редко и то вполголоса. Лишь телефонный звонок за перегородкой справочного звонил резко и пронзительно.

За окошечком с прозрачным оградительным стеклом сидела полненькая девушка со сложной, тщательно продуманной прической. Стараясь быть деловым и лаконичным, я объяснил, что ищу человека, который, по моим предположениям, лежит в этой больнице.

— Отделение? — коротко осведомилась девушка, не глядя на меня.

— Этого я не знаю, — сказал я.

— С чем положили вашего человека?

Я натянуто улыбнулся: тоже не знаю.

Девушка шевельнула нетерпеливо плечиком, яркие губки ее вытянулись в скептическую трубочку.

— Фамилия?

— У нее сейчас другая фамилия, она сменила, — заторопился я. — А зовут Аделина Григорьевна.

Девушка в первый раз, кажется, вскинула взгляд, посмотрела на меня внимательно —

так, вероятно, смотрит врач на пациента, немело симулирующего болезнь.

— Да вы что, смеетесь, что ли? У нас полторы тысячи больных. Мы в алфавитном порядке пишем. Узнайте хоть фамилию, потом приходите.

— Зато имя редкое, — вставил я.

— Имя ни при чем... Давно поступила?

— На прошлой неделе, — быстро сказал я, сообразив, что, если еще раз произнесу сакраментальное «не знаю», она просто бросит со мной разговаривать.

— Простите, а кто она вам?

— Очень хорошая знакомая, — сказал я, попытавшись соответствующей интонацией придать характеристике вес и значимость.

Девушка приподняла уже трубку, решив, вероятно, с кем-то посоветоваться, но тут же вернула на место.

— Гражданин, у меня много работы. Вы задерживаете.

— Девушка, — взмолился я, — неужели, по-вашему, очень хорошие знакомые не заслуживают того, чтобы их навестили?

— Отчего же? Но очень хороших знакомых и знают обычно хорошо. — И она потрогала ладонью прическу, будто убеждаясь, не нарушилась ли за время длинного и нудного со мной разговора.

— Логично, — сказал я, вынужденный оценить тонкую язвительность ее замечания. — Но понимаете, мы расстались несколько лет назад, она вышла замуж...

В глазах девушки мелькнула искорка внеслужебного интереса. Да и на моем лице огорчение проступило, должно быть, столь искренне, что она заколебалась.

Тут меня сзади требовательно хлопнули по плечу.

— Товарищ, надо же уважать очередь, сколько можно?

— Извините, — обернувшись, пробормотал я, — такой случай...

— Ну ладно, вот что, — сказала девушка и повернула к себе часы, свободно болтавшие у нее на запястье. — Моя смена кончается через пятьдесят минут. Если хотите — подождите, что-нибудь придумаем. А сейчас я в

самом деле ничем не могу помочь... Следующий!

Я сказал, что обязательно подожду, отошел и сел на свободное кресло.

3

Спустя час, как и обещала, девушка появилась через служебный вход в глубине, остановилась посреди фойе, ища меня глазами. Я поспешно встал, пошел навстречу.

Девушка была невысокого роста, этакая юная толстушка, но в ходьбе довольно энергичная. Легкий сарафанчик (белый халат она сняла) едва прикрывал колени. Она привела меня в комнату, всю по стенам опоясанную стеллажами, с конторским столом у окна и телефоном. Молча села за стол, меня жестом усадила напротив, взяла карандаш.

— Ну, давайте ваши данные, — сказала она.

— Значит, так. Зовут Аделина Григорьевна, возраст двадцать девять лет, профессия художник-декоратор... — На этом я запнулся. — Вот, пожалуй, и все... Да! Вероятное место работы — фаянсовый завод.

— Вероятное! — усмехнулась девушка. — Ну задачка. Домашний адрес вам тоже, конечно, неизвестен... Попробуем так. Обзвонить санпропускники. Учтите, их у нас целых три. Начнем с третьего, там Лидка Шульгина должна сегодня дежурить, подружка моя.

Она набрала номер.

— Лидка, привет. Это Оля... Нет, Лидок, я по делу. Надо отыскать одну больную. Поступила в гинекологический в течение этой недели. Да, к вам, я же говорю. Запиши данные. Оля — при этом глянула на меня, вздохнула. Вот, мол, и врать уже приходится, иначе и искать не будут. Потом быстро продиктовала с листка, добавила: — Фамилии нету, в том то и дело... Лидок, будь умницей, пролистай свои гроссбухи, очень важно... Зато имя редкое! Через сколько позвонить?.. Ну спасибо, ты уж постарайся, ладно? Ну давай!

Следующий номер Оля набрала менее уверенно. Ожидая отзвона, проговорила озабоченно:

— А в первом такие гримзы сидят, могут и отказать...

Однако «грымзы из первого» восприняли Олину просьбу довольно доброжелательно, пообещали поискать, отчего полное личико ее засияло, она пощebetала в трубку:

— Благодарю вас, через двадцать минут перезвоню. — Нажала пальцем кнопку. — Под настроение попала, не иначе, — объяснила она.

Осечка случилась на последнем, третьем звонке. После того как Оля передала данные, а там что-то ответили, она сказала с вызовом:

— Никто не считает, что вам делать нечего. Вас по-человечески просят, это же исключительный случай... Фамилии нет, зато имя редкое, да... Ну и что, и приду, и сама поищу, если надо будет, подумаешь...

Трубка запищала, как задавленная, и Оля бросила ее на аппарат.

— Заработались, — сказала она, презрительно глядя на аппарат. Обернулась ко мне: — Ладно, может быть, без них обойдемся. Может быть, из этих двух кто ответит. А то придется туда бежать.

— Я могу и сам, — предложил я.

— Что вы — не допустят. Там еще почище грымзы сидят...

Ну и заварил же я кашу. Думал — это просто. А если она вообще в другой больнице?

Оля крутанула на запястье браслет с часиками.

— Вы, наверное, торопитесь, — сказал я.

— На свадьбу сегодня приглашена! — Оля засмеялась чему-то и знакомым мне жестом потрогала волосы. — Ничего, успею. Главное — прическа готовая. Вчера вечером соорудила, спать пришлось чуть не сидя, ужас.

Внезапно распахнулась дверь, девушка в марлевой косыночке с порога затараторила:

— Вот ты где! А я сказала — ушла. А они ругаются на чем свет. Ты запрашивала второй санпропускник?.. Ну вот, а сидишь тут посиживаешь, поговариваешь. Беги к нашему телефону.

— Чего же они! — Оля вскочила. — Я же обещала сама, вот ненормальные!

Обе выбежали. Я остался сидеть в наступившей тишине, тиская в руках газету с завернутыми в нее несколькими гвоздичками,

наугад купленными мной у цветочниц еще там, на привокзальной площади.

Минут через пять Оля вернулась, протянула мне листок бумажки. Я прочитал: «Аделина Григорьевна Гумирова. 29 лет. Корпус 7, палата 3».

Я вертел в руках бумажку. Гумирова... Гумирова...

— Она?

Мне показалось, славная толстенная Оля смотрит на меня сочувствующе.

— Спасибо, — наконец спохватился я. — Думаю, что она. Все совпадает... Большое вам спасибо, Олечка. Вы очень добры, не теряйте этого качества. Счастливого вам погулять на свадьбе.

4

Корпус семь располагался в глубине больницы городка, это была его окраина, тихий шелестящий листвой угол и без того не очень людной территории. Розоватые четырехэтажные здания с большими окнами, несколько служебных построек из кирпича, асфальтированные площадки, прогулочные аллеи со скамеечками составляли здесь как бы самостоятельный комплекс. Завеса посадок закрывала весь нижний этаж и часть второго, а сразу же за корпусом, до самой ограды, тянулись остатки кочкарника, густо заросшего молодой грядкой камыша и осота.

День был субботний, а в правилах распорядка, который я прочитал при входе, было сказано: свидания с больными только по воскресеньям. Я пошел к заведующему корпусом, достал свое командировочное удостоверение, сказал, что проездом, и мне разрешено было посетить больницу из третьей палаты, но только несколько позже, после четырех часов — сейчас самое время лечебных процедур.

Была половина третьего. Поэтому оставшиеся полтора часа я воспринял даже с некоторым облегчением. Я вдруг с трепетом душевным почувствовал: во мне совсем не осталось решимости. Из меня будто разом вытряхнуло ее еще в тот момент, когда я уловил сочувствие в глазах Оли Яблочкиной, протягивающей

мне бумажку. А особенно, когда прочитал, подойдя, название корпуса.

...Я вышел на улицу, углубился в кустарниковую аллею. Сел на скамейку из красных реек. Скамью покрасили недавно: краска, капнувшая на песок рядом, блестела еще свежо, точно кровь. Здесь была слабая тень, теплый ветерок шевелил, опрокидывал листву; в кустах стрекотала птица.

Газетный сверток я совсем затискал в руке, и он приобрел жалкий, истерзанный вид. Я осторожно развернул его. Бутончики цветов уже сникли, два-три стебелька были надломлены. Я отбросил их, оставшиеся тщательно, со всеми предосторожностями, завернул снова — ничего, в воде отстоять.

Сквозь ветви я видел часть торцової стены больницы корпуса, пожарную лестницу посередине, ряд широких синеваї чистоты окон с распахнутыми верхними фрамугами. Толстые шнуры от фрагуг свисали, как приспущенные флаги.

5

В дни той затянувшейся командировки на фаянсовый завод я жил в доме молодых специалистов. Здесь же, но только в боковом здании, располагалось общежитие рабочей молодежи, где жила Лина. Родом она была с Владимирщины, сюда прибыла по распределению после окончания художественного училища.

Характер у Лины был живой, общительный. В цехе она везла кучу общественных нагрузок. Всегда кому-то что-то пробивала, кому-то что-то устраивала. Это я знал хорошо, потому что, как только речь заходила у нас о встрече, она тут же начинала лихорадочно вспоминать — свободна ли. Но она была молодцом. Если час оказывался занят, она говорила озабоченно: «Сегодня у меня местком, но я с него через полчаса сбегу. Милый, ты подождешь полчаса? Ну и порядок». — Или: «Говоришь, в субботу вечером? Ой, хорошо! В субботу вечером в нашей комнате девки день рождения задумали. Я так и скажу им: у меня свидание!» Когда я на это начинал тянуть: «Ну как же, Ленок, если день рождения и тебе

хочется...», она смеялась: «Ой, мы в этом году каждой из нас по два раза отметили. Без меня перетопчутся!»

Росточка Лина была небольшого, стройненькая, обувь носила на самом высоком, часто щеголяла в джинсах. Но любила и легкие светлые платья. Свои желтые прямые волосы, когда на работе, закручивала в небрежный узел, в остальное время освобождала, перехватив у затылка костяной пружинкой. Пользовалась тушью, вечером подсинивала веки. Курила сигареты с фильтром. Про косметику говорила так: боевая раскраска. Вдруг остановится, зажмет в ладошке зеркальце, скажет простодушно: «Ой, погоди, милый, подновлю свою боевую раскраску».

Познакомились мы с Линой благодаря ее босоножкам. Прошу прощения, но это так. Именно благодаря босоножкам, которые она тогда носила.

Я работал на пуске второй очереди. Перед обеденным перерывом меня вызвал наш главный инженер и попросил сходить к соседям в первый цех. Там что-то в конвейере появились сбои, а ремонтника нет, заболел, что ли. («Ты с этой схемой знаком лучше других, так что не посчитай за труд»). Сходить надо было в обеденный перерыв, пока конвейер отключен.

Я пересек опустевший на этот час цех, в котором уже прежде бывал, прошел в конец линии. Там стояли длинные столы с кистями и красками, с длинной шеренгой вертящихся стульчиков. Рядом — загруженные фаянсовыми толстыми бокалами ручные тележки. Именно на этих на первый взгляд беспорядочно заваленных столах заводская продукция получала окончательное оформление. В полном смысле — последний штрих. Отсюда посуда, тонко и изящно украшенная цветочками, лепесточками, разными там ягодками и поясками, уходила прямо на склад готовой продукции. Трудилась здесь бригада девушек-художниц. Сейчас никого не было, стульчики пустовали, но возле каждого стояла пара обуви, — придя на рабочее место, девушки переобувались на весь день в мягкие без каблучков тапки.

И вот, двигаясь вдоль конвейерной линии и заглядывая в узлы, я то и дело натыкался на эту обувь, отодвигал в сторону.

Какое тут было замечательное собрание мод и фасонов! Туфельки на высоком, туфельки на низком (эти, как правило, больших размеров), старенькие побитые танкетки, лакированные лодочки. Но больше всего было босоножек — белых, красных, пестренких, с золотыми заклепками. И совершенно простеньких, и с умопомрачительным переплетением ремешков.

Внимание мое вдруг привлекли босоножки на крутых пробковых платформах — беленькие, изящные, как игрушки. Даже по тому, как они стояли — по-детски трогательно, носок вплотную к носку, а пяточки на отлете, — можно было утверждать: их носит девушка необыкновенных качеств. Каких именно — я как-то не сумел сформулировать. Я даже приподнял босоножки, хотя они мне не мешали, подержал в руке и осторожно вернул на место. Они были к тому же невесомы.

Опробовав линию — она везла нормально, — я отошел и остановился в сторонке, вытирая ветошью руки.

Стала собираться бригада. В коротких форменных курточках, все с закатанными рукавами, в розовых косынках девушки были малоотличимы друг от друга. Задержавшись возле их столов, я слукавил. Мне вдруг захотелось взглянуть на хозяйку белых пробковых босоножек. Стульчик ее до самого последнего момента оставался пустым. Прибежала она, когда начальник смены уже врубил линию, и толстогубые бокалы, важно покачиваясь, поплыли мимо. Она села — ко мне спиной, — схватила с тележки первый бокал, поставила на вертящийся столик — склонилась. Та же форменная с простроченными швами курточка, та же тугая косынка — требование техники безопасности при работе с вращающимися механизмами. Встретил бы где-нибудь на территории — не задержался, пожалуй, взглядом. А тут...

Соседка что-то сказала ей, обе враз оглянулись на меня, засмеялись. Неужели я тараторил так откровенно, что поглупело лицо?

Я махнул начальнику смены рукой, мол, все в порядке, и не спеша затопал из цеха, вдоль шелестящего, позванивающего конвейера. Не отставая от меня, рядом валко торопился, подпрыгивая, бокал. Как наградная лента,

свежо поблескивал на нем золотой поясик.

Потом я увидел ее в заводской столовой, стоял позади, она болтала с подругами, в мочках ушей взблескивали камушки. Несколько дней спустя заметил ее на остановке, одним автобусом ехали на смену. Было тесно, нас прижали друг к другу. Молчать в таком положении было неловко, я произнес какую-то веселую чепуху насчет автобуса как мощного средства сближения. Она глянула на меня снизу вверх, улыбнулась.

— Ой, это не вы на прошлой неделе чинили нам линию?

— Я, а что, плохо? — переспросил я, польщенный ее памятьливостью.

— Да нет, ничего. Просто вы с тех пор почему-то стали ниже ростом.

— Это наверное потому, что вы стоите на моей ноге, — сказал я.

— Ой, правда? Извините, но придется вам потерпеть — больше некуда.

— Потерплю, немного осталось, — сказал я великодушно и сразу же почувствовал сердцем радостный толчок, какой бывает от нечаянной находки. — После смены обязательно дождусь возле проходной, — решил я.

6

Пришла она ко мне в мою комнату в доме молодых специалистов после одной нашей с ней субботней прогулки на остров, на пляж. День был жаркий, мы слегка подгорели, особенно Лина, у нее был открытый купальник. На пляже провалились мы целый день и к вечеру зверски захотели есть.

По пути домой заглянули в кафе, мест не было. В общежитской столовой, куда мы вошли, стояла духота, пахло подгорелым жиром — после свежести реки сидеть здесь было бы кошунством. Я вспомнил, в холодильнике у меня бутылка пива. «Хочу пива», — решительно заявила Лина. Мы взяли в буфете кулек холодных котлет, два малосольных огурца, пирожков с капустой.

Когда вошли ко мне, Лина, оглядевшись, сразу схватила свою пляжную сумку, заперлась в ванной, проговорив: «Ой, мамочка, хочу охладиться, горю», — зашумела душем.

Я постоял у раскрытого холодильника, глядя на сиротливую бутылку пива, поскреб затылок. Конечно, это свинство, подумал я. Надо бы что-то предпринять. Двери моего номера выходили в общий коридор — система была гостиничная. Выйдя и заперев на ключ дверь, ибо по нашим демократическим порядкам мог сунуть нос всякий, кому не лень, я побежал в кафе, в которое мы недавно заглядывали. Там я купил бутылку шампанского — единственный тут напиток, который при выносе в зал заранее не распечатывался, и маленькую плитку шоколада. Когда я вернулся, Лина, в джинсах и розовом батничке, уже сидела настороженно на диване, ждала.

— Ага, — сказала она, покосившись на шампанское, — сразу и под замок.

— Только ради сохранности, извини, — сказал я. — Чтoб джигиты не выкрали.

— Я так и поняла, уже кто-то ломился.

— Вот собаки! Ну, не расстраивайся, они шутили.

Лина вздохнула.

— Здесь такая слышимость. Дежурная на первом этаже ругается, а как будто под дверью.

— Она и под дверью может, — успокоил я. — Просто к этому надо привыкнуть.

Мы сели за стол, я развинтил на пробке петлю. Лина отломил от шоколадной плитки кусочек, кинула в стакан с шампанским. Шоколадка на дне засеребрилась пузырьками и вдруг подпрыгнула, как живая. Опустилась на дно и снова подпрыгнула.

— Занятно, — сказал я. — Да ты опытная женщина.

— Ага, — засмеялась Лина, — ужасно опытная. И учти — коварная. И люблю шампанское, как ты угадал. За что выпьем?

— За нас с тобой, — сказал я не задумываясь.

Она пристально посмотрела на меня, пытаясь прочесть в моих глазах иронию, согласилась:

— Годится. Сегодня у меня был чудесный день, спасибо тебе.

— Да, но ты сгорела.

— А я всю дорогу так, — сказала она беспечно. — Защитного пигмента не хватает!

Мы просидели за столом до сумерек, ели

котлеты с пирожками, потихоньку запивая шампанским и заедая огурцом, — было прекрасно. Лина с увлечением рассказывала про свой город Владимир, про древности — кремль, Золотые ворота. Инициатива разговора всегда была в ее руках. Зажглись за окном светильники. Сполохи автомобильных огней заполняли комнату тихим серебристым мерцанием, точно далекой светомызкой.

— А храм Покрова на Нерли, — проговорила Лина вдруг своим чуть осипшим от купания голосом. — Ты, конечно, видел на картинке, но это совсем не то! Дело даже не в самом храме, не в архитектуре, хотя она сама по себе прекрасна. Вернее, не столько в архитектуре... — Она быстро отхлебнула из стакана глоток, пошарила по темному столу, ища сигареты, не нашла, продолжала: — Понимаешь, там железнодорожная линия, и автобусы доезжают только до нее, дальше пешком. Помоему, специально сделано, ну... чтобы пешком, иначе не воспримешь... — В этот момент в Лине, я почувствовал, проснулся художник. — Представь: переходишь линию, там как раз остановочная платформа, впереди — луг. Луг, луг... Вдали облака зелени, дубы, идешь по лугу километра два, не меньше... Идешь, и вот — что-то белое. Восходит над зеленью. Над дубами. А ты идешь, а оно восходит... Господи, чудо...

Я уже не очень вникал в то, что рассказывала Лина. Я вдруг обнял ее, она на полуслове умолкла, прикоснулась к моей руке щекой.

— Ты сама чудо, — с больно ударившим сердцем сказал я.

— Ага. — Я ощутил рукой ее слабый нежный кивок. Плечи ее даже сквозь ткань батничка были горячи.

— Не болят?

— Немножко, — шепнула она, — но все равно теперь облезу — кошмар. Я думаю, — добавила она озабоченным тоном, — не пора ли зажечь свет, а то сигареты куда-то пропали.

Я наклонился к ней, нашел губами теплую ложбинку под ухом, поцеловал.

— Пора, — сказал я, встал и послушно щелкнул выключателем.

Лина зашуркала в резком свете, заморгала. Потом глянула в зеркало, встревожилась: пят-

на от солнечных ожогов стали отчетливее, расплылись по щекам и лбу.

— Фу, как ошпаренная кошка! — воскликнула она. — Нет, выключи, пожалуйста...

И потом уже, сидя на краешке кровати, белая двумя незагорелыми полосками, проговорила жалобно-умоляюще:

— Не надо бы, не сейчас... Ведь завтра мы в глаза друг другу не поглядим...

Но это была минута, когда в словах уже нет никакого смысла.

7

Она стала бывать у меня.

Увидев на полочке, среди прочих книг, томик Горького, заявила:

— Не люблю Горького. Нет, не за книги, книги-то у него ничего. А что сказал: жалость унижает человека. И все этому поверили. А это неправда.

Увидела она томик вечером, но слова эти произнесла уже ночью, перекаtywаясь головой по моей руке, — значит думала о них.

— Что неправда? — переспросил я.

— А то. Если человек жалеет другого, он никогда не сделает подлости. И вообще...

— Это он для того времени сказал, для дореволюционного, — попытался защитить я Горького.

— Нет, — возразила Лина тоном первой ученицы, отвечающей у доски. — Писатель пишет для того времени, в которое его читают... Мне так вот всех жалко.

— И меня? — пошутил я.

— Тебя?... Она крутанулась в моих руках, встала на колени. Склонилась, как бы всматриваясь. — Тебя, милый, еще не за что!

— Ого, а ты кусая.

Волосы ее посыпались мне на лицо. Я слегка задохнулся, поднял руку, нащупал теплый овал ее плеча. Ладонь моя скользнула, и чуть выше правой груди я ощутил под нежной кожей тугой перекаtywающийся комочек. И тут же почувствовал — Лина, стоя надо мной на коленях, вся как бы напряглась.

— Что это у тебя?

— Где?

— Да вот... ну-ка наклонись ближе.

— Погоди, милый. Курить ужасно хочется.

Она соскочила на пол, ушла на диванчик, села там в уголок, подобрав ноги. Стрельнула зажигалка, затлел глазок сигареты — Лина не могла курить лежа.

Через несколько минут она вернулась ко мне, прижалась прохладным телом, задышала в самое ухо:

— У тебя много было... нет, сперва отвернись, я ужасно бессовестная... Много было до меня подруг?

— Ну, Ленок, ну ты даешь... — Я аж закричал. — Если я скажу — никого, ты не поверишь. А если скажу — много, тебе это будет неприятно.

Лина вздохнула.

— Дипломат... А вот я признаюсь: у меня был всего один друг. Фактически он был мне мужем, мы только расписаться не успели.

— Что же помешало? — Я почувствовал с удивлением, что уязвлен.

Лина неожиданно рассмеялась, откатившись от меня. Я взглянул на нее: над чем это она?

— Представляешь, через несколько дней я узнала — ему нет еще семнадцати! Он учился в школе механизаторов, рослый такой парнишка, а я только в училище поступила. Неожиданно приехал его папаша из деревни — тоже механизатор, ручищи во! — и прямо на глазах у меня и нашей квартирной хозяйки выдрал его ремнем. Представляешь, какой ужас. Забрал и увез домой.

— Таким образом ты рано овдовела, — подытожил я.

Лина вдруг обиделась: — Ничего смешного, — сказала она, хотя сама только что смеялась. — Типичный сельский домострой.

Я привлек ее к себе, прикоснулся губами повыше правой груди.

— И все же, Ленок, что это?

— Да ничего особенного, вот пристал!.. Врачи говорят: затвердение ткани.

— А еще что они говорят?

— Говорят: если хочешь, можем удалить, а то живи так.

— Ну, а ты?

— Решила жить так.

— Ты говоришь мне правду?

— Я всегда говорю тебе правду.

Встречаясь со мной, Лина, казалось мне, вела себя не совсем последовательно. То я не мог уговорить ее зайти ко мне хоть на пару минут, а то появлялась внезапно сама, с пластиковым пакетом в руках; коротко обняв и поцеловав меня, небрежно говорила отходя:

— Хочу сегодня у тебя остаться, не возражаешь? Только чур — я лягу на диванчике, ага? Но сперва позволь нырнуть в твою ванну — у нас сегодня в душевой не протолкнешься.

Выйдя из ванны с обмотанной полотенцем головой, порозовевшая, бросала недовольно:

— Ну вот, смыла всю боевую раскраску, теперь не смотри на меня, пока не обсохну и не обновлю, ага? — Садилась в угол диванчика, доставала из своего пластикового пакета книгу, принималась сосредоточенно читать. Но хватало ее ненадолго. Захлопнув книгу, требовала: — Подойди ко мне. — И глаза у нее при этом были зеленее обычного, чуть испуганные от собственной решимости. Я подходил. Она обхватывала мою голову ладонями, еще влажными от ванны. — Господи, он в самом деле не смотрит, хоть не говори ему ничего. — Полотенце с нее при этом сваливалось, и шумно падала на пол книга...

В такие моменты она мне представлялась искусственной, а выпоротый отцовским ремнем ее малолетний муж, единственный ее мужчина, — выдумкой веселых и находчивых. Но стоило только зазвучать в коридоре мимо двери чьим-то шагом, Лина мгновенно остывала — вся сжималась, цепенела.

— Нет уж, нет уж! — по-детски хныкала она, когда шаги затихали, удаляясь, — тут разве привыкнешь, точно идут прямо к тебе в постель.

Полуавтоматическая линия второй очереди, на которой мы сидели вот уже четыре с лишним месяца, постоянно давала сбои. Сроки поджимали. Все чаще приходилось оставаться сверхурочно. А сентябрь — срок пуска линии — был уже рядом. Случилось так, что я несколь-

ко дней не смог видеть Лины. Но видеть хотелось; хотелось встретиться, и как раз в сегодняшний вечер высвечивалась такая возможность. В обеденный перерыв я побежал в первый цех. Длинный прилавок рисовальщиц пустовал. Я написал записку. Она начиналась так: «Шоколадка, подпрыгивающая в стакане, жду тебя сегодня вечером в...»

Около рабочего места Лины стояла тележка, на которой в этот раз теснились молочно-белые широкие вазы. Я бросил записку в одну из ваз.

Вечером, встретившись, мы прогулялись по набережной, потом перешли мост, по крутой каменной тропе с металлическими лестницами-трапами поднялись в бор. Запыхавшись, остановились под первыми соснами, оглянулись на город. Река внизу, отражая закат, была гладкой и выпуклой, точно ее надули розовым дымом. Шум транспорта, непрерывным потоком идущего по мосту, долетал сюда приглушенным ворчаньем. Промышленная гарь висела над растянувшимися до горизонта городскими строениями, расплываясь в сиреневые прозрачные ленты.

Лина зацепилась ладонкой о мое плечо, склонила голову.

— Знаешь, милый, если ты будешь передавать таким способом записки, моя производительность ужасно возрастет.

— Это почему?

— Ну как же! Я буду вынуждена расписывать как можно больше посуды. Чтоб скорее найти записку!

— Я об этом не подумал, — заметил я. — Надо будет оформить в качестве рацпредложения.

Лина рассмеялась. Она была в легком осеннем пальтишке в крупную клетку, щеки ее от ходьбы в гору зарделись, на шее пульсировала жилка.

— Я люблю тебя, — сказал я.

— Нет, это я люблю, — возразила она.

Такой у нас с ней в последнее время придумался веселый диалог, вроде игры.

В глубине бора, в его зеленоватом сумраке светилась первыми огнями открытая веранда ресторана «Лето». Ворковала радиомузыка, несколько пар качались, как сомнамбулы, в

задумчивом танце. Издалека было видно, есть свободные столики. Ничего удивительного — будний день.

— Может, зайдем?

— Ага, — согласилась Лина. — Я ужасно пить хочу.

Мы разделись, заняли столик у самого барьера. В более чем скромном меню шампанского не было, а только сомнительного качества, судя по цене, красное вино. Лина сразу отказалась. Я попросил бутылку напитка «Буратино», два мясных салата и стакан вина — для себя.

Лина сидела напротив, полуобернувшись в зал. Дощатый пол шевелился под ногами танцующих, шевелились тонконогие стулья, на которых мы сидели. На Лине был вязаный пестрый жилет поверх алого батничка, волосы гладко забраны под пружинку. Глаза ее блестящие. С куста рябины, росшей рядом с верандой, слетел оранжевый листок, спланировал на стол. Лина взяла его, не отводя глаза от танцующих, прикусила влажными зубами. В груди у меня больно перекачилось. Прекрасная моя женщина, подумал я.

Официантка принесла заказ. Лина мелкими глотками выпила стакан «Буратино», взялась за салат. Ковырнув несколько раз вилкой, отодвинула тарелку.

— Что, не понравилось? — спросил я.

— Ага.

— «Ага» в смысле «нет»? — уточнил я.

— Ага, — она слабо улыбнулась.

— Попросить что-нибудь другое?

— Не нужно. — На лицо ее, еще минуту назад такое чистое и умиротворенное, набежала тень. Между бровей легла складочка. — Знаешь что, милый, давай уйдем отсюда.

— Да мы только сели!

— Ну и что. Давай уйдем.

— А может, потанцуем, — неуверенно предложил я.

— Не хочу, уйдем.

Она встала и пошла с веранды. Перепады ее настроения были мгновенны, почти неуловимы. Я залпом выпил вино, в самом деле дерьмовое, шлепнул на стол трояк и пошел вслед за Линой.

Под ресторанным крыльцом на бетонном камешке сидела объемистая рыхлая тетка. Перед ней стояло цинковое ведро с белыми и сиреневыми цветами, похожими на астрочки. Когда мы шли сюда, ее здесь не было. Значит, села только что — поздноватое. Спускаясь по ступенькам, я приобнял Лину, мы остановились перед цинковым ведром.

— Почему цветы? — спросил я.

— Гривенничек штучка, молодые люди. Берите, не пожалеете. Выбирайте, какие на вас смотрят.

— Выбери, — предложил я Лине. Настроение ее, я видел, хуже некуда. Но она всегда любила цветы. И я посчитал, букет ей сейчас в руках не помешает.

Она помедлила, вид свежих цветов согнал с ее переносья морщинку. Наклонившись, выдернула из ведра одну по одной девять астрочек, поднесла к лицу.

Я протянул цветочнице железный рубль. Та взяла в ладонь монету, толстые губы ее поплыли.

— Да недодано, молодой человек.

Я удивился.

— Как же? Девять штук по десять копеек, считайте.

— Да нет. Которые девушка ваша взяла — эти по пятнадцать.

Меня почему-то задела эта ее мелкая запоздалая жадность.

— Вы же сами сказали — по десять.

— По десять вон те, которые помельче, — уперлась тетка. — А которые ваша девушка выбрала — те по пятнадцать.

Лина нервно перебирала в пальцах влажные стебли.

— Да отдай ей, сколько просит, пойдём.

— Нет, подожди. — Я снова повернулся к торговке. — Где помельче, покажите мне. Они же тут все одинаковые.

— Раз ваша девушка выбрала, значит не одинаковые, ай, молодой человек! — пропела тетка.

Я растерянно замолчал. Перед наглостью я всегда теряюсь. А перед такой торгашеской беспардонностью я вообще отупел. Коммерция коммерцией, но зачем наглеть?

Лина, вместо того чтобы поддержать меня, бросила обратно в ведро цветы и быстро пошла по дорожке прочь. Я догнал ее, взял за локоть: ну чего ты? Она оглянулась на меня, отдернула локоть, в глазах ее блестели слезы!

— Я... я держу цветы... — Голос ее перехватывали спазмы, — держу цветы, а ты... торгуешься из-за копеек.

Я оторопел: час от часу...

— Да дело разве в этом? Ты видела ее наглость?

— Видела. Но ведь я держала цветы. Как ты не можешь понять...

Я промолчал: я действительно не мог понять. Черт с ней, с этой теткой и ее копеечной жадностью. Лина права. Не морковку же покупаем, а красоту, эстетику! Но, с другой стороны, — ваша девушка, ваша девушка! Расчет старой тумы, что молодой человек постесняется мелочиться. А я как раз и...

Так в полном молчании мы спустились по гулким лестницам-трапам на берег, перешли мост. Запоздалый глассер промчался под мостом, и опрокинутые электрические огни в темной воде полетели вслед, запрыгали, точно искры раздутого ветром костра.

Мы вошли на набережную — людную в этот час, разноголосую. Она была ярко освещена; светильники на тонких изогнутых мачтах нависали, как кобры. Мы смешались с толпой гуляющих. Это была в основном зеленая молодежь, группами, «толпами» — подростки. Взрослые ходили парами.

В саду, примыкавшем к набережной, гремел оркестр. Голос певицы томно доносил: «Ты приносишь беду, ты с ума меняводишь, только как я уйду, если ты не уходишь...»

В живом, праздном и хаотичном движении идти в одиночку было неуютно. Лина взяла меня под руку.

— Не сердись, — сказала она, заглядывая мне в лицо. — Я же дура, женщина. Не надо обращать на меня внимание. Не сердись?

Когда женщина расстраивается по пустякам, значит, причина серьезна, подумал я, а вслух сказал:

— У тебя боевая раскраска не в порядке.

— Ой, правда? Давай присядем, вон на скамье свободно.

Мы свернули с набережной, сели. Лина вынула зеркальце, платочек, занялась собой. Покончив с глазами и застегнув сумочку, пожаловалась:

— Курить хочется — до невозможности.

— Кончились сигареты?

— Зачем? Есть.

— Ну так закури.

— Что ты, милый! Курить принародно я стесняюсь, разве ты не заметил?

Я приник губами к ее гладким на виске волосам.

— Был бы я твоим мужем, я запретил бы тебе курить и в толпе, и в одиночку.

— Да ну? — Лина как-то принужденно рассмеялась отстраняясь. — Значит, мне суждено курить до конца моих дней... А вообще ты прав... — Она быстро взглянула на меня, точно проверяя реакцию на свою шутку, вздохнула: — Опять ты прав, о господи. Кстати, когда ты уезжаешь?

Вот оно. Я ждал этого, казалось, был готов, но все равно смешался.

— Линия нами уже практически сдана, — промямлил я, — остались одни недоделки, на неделю, может, на две...

Я проводил ее до общежития, и попрощалась она со мной довольно сдержанно, от поцелуя уклонилась, ушла не оглянувшись.

Нет, подумал я, с этим надо кончать. Сцену заката — прямо как жена...

Буквально на следующее утро, едва я встал, в дверь ко мне громыхнула дежурная и крикнула сердито, что меня просят к телефону (эта услуга у наших дежурных не была принята). Я спустился в вестибюль, взял со стола трубку. Звонила Лина.

— Милый, сделай скорбное лицо, — сказала она, — у тебя умерла любимая тетя...

— Что? Что? — не понял я.

— Ага, иначе бы дежурная не позвала. А теперь слушай. У одной моей знакомой пустует дача, они уже съехали. Есть возможность взять ключи и провести выходной на лоне. Если, конечно, тебя не задавят твои сверхурочные работы. Но решать надо, — добавила она, — сию минуту, знакомая уезжает, почему и звоню в пожарном порядке.

— Когда похороны? — я покосился на сидящую рядом дежурную.

— Говорю же — на воскресенье! — весело закричала Лина, так что я вынужден был крепче прижать к уху трубку. — Электричка уходит в субботу, в семь вечера.

Обидеть ее отказом у меня не хватило решимости.

— Я постараюсь быть, не плачь, — произнес я скорбным голосом. — Тетя бы не одобрила этого.

— Целую тебя! — засмеялась Лина и тотчас же раздался короткий гудок отбоя. Я бережно положил трубку на аппарат, будто это была не трубка, а цветы на могилу моей любимой, но несуществующей тети.

10

Езды на электричке было минут сорок. Справа потянулся монотонный блеск речной глади, слева то и дело обрушивались грохотанье и сумрак подступающих к насыпи скал, обросших увядающей тайгой, — мелькнет яркая, как сноп пламени, листва осин, проплывет сгорбленный, в тяжелой сентябрьской зелени кедр. Веселые, колоритные места и совсем рядом, о чем я и представления не имел, живя в этом задымленном громящем городе.

Дача оказалась обыкновенным крестьянским домом среди деревни. Причем деревни довольно обширной. Три или четыре порядка домов, сбиваясь и перемешиваясь, толпились вдоль речной протоки. Но коренных жителей в ней почти не осталось. Жили главным образом горожане-дачники, пенсионеры, да и то лишь от весны до осени.

Все это мне рассказала Лина, пока мы шли от станции по тропке среди редкого, желтеющего под закатным солнцем березняка.

Дом был старый, приземистый, с крышей, темной от мха, с голубыми ставнями и застекленной верандой — явно позднейшего происхождения. Зато была масса разноцветья — багрянца черемухи, желтизны берез и рябин, стойкой зелени смородинника и дикого хмеля, — которое росло весело и хаотично, топорщилось, вздымалось там и сям непролазными куртинами, свисало с антенной рогульки.

Слева и справа в ряду стояли дома-дачи, тоже густо задернувшиеся от улицы завесой палисадов, — трудно было при беглом взгляде отличить один дом от другого. Дорвавшиеся до земли пенсионеры-урбанисты будто взяли обязательство не оставить свободного клочка.

На веранде от охапок укропа, вязанок мака, веников из каких-то целебных трав пахло остывшей баней. Громоздились вдоль стен банки, ведра, огородный инструмент. Мы вошли в дом. За плотно прикрытыми ставнями было темно, глухо. Лина нашла керосиновую лампу со стеклом, ее золотистый свет медленно разлился по дому.

Посреди избы высилась печь, а за ней в дальнем углу — застеленная стеганным одеялом брусковая деревянная кровать с резными спинками. Их украшали фигуры, похожие на кегли. Взоры наши невольно задержались на этом монументальном сооружении, рассчитанном не на одно супружеское поколение. Наверное, на такой кровати, подумал я, спали супруги, о которых сказано: они прожили долго, были счастливы и умерли в один день. Лина отвела взгляд. Хотя она бывала здесь, но сейчас — чувствовалось — увидела ее несколько другими глазами.

Я засмеялся, привлек ее к себе.

— Люблю тебя, — сказал я, на что она, покачав головой, возразила: — Нет, это я люблю. — И веселого в ее голосе на этот раз было очень мало. Она мягко отстранилась, проговорила оглядевшись: — Ого, смотри, дров-то!.. Давай для начала растопим печь!

Дров в самом деле было много, полный запечек. Спасибо хозяевам — запасливые люди. Через пять минут по-крестьянски приземистая беленая печь уже утробно гудела; зайчики огня заплясали на широких бородавчатых половицах. Я сходил по воду — колодец был тут же, во дворе, поставил чайник. Пока мы раскладывали свои вещи, выставляли на стол продукты, занимались мелкими, но приятными делами благоустройства предстоящего ночлега — забулькал весело чайник. Стало тепло и уютно, накатило ощущение обретенного покоя, точно мы с Линой вернулись в свой собственный, уже позабытый дом и нашли его в полном порядке.

...Сквозь закрытые ставни не доносилось ни одного звука. Да и откуда им взяться, если большинство дач пустовало, и когда мы проходили вечерней улицей, было безлюдно, лишь где-то жалобно побреживала собака да на протоке постукивал заблудившийся мотор. А сейчас и вообще ночь.

Постель сначала была холодна, даже леденящая, но мы быстро нагрели ее и теперь, откинув в ноги тяжелое одеяло, лежали, соприкасаясь плечами. Комнату трепетно подсвечивал печной огонь. Мы наслаждались тишиной, впитывая ее каждой клеточкой наших обнаженных тел. Тишиной, дровяным горьковатым теплом и абсолютным уединением. Ни противного дежурного голоса за дверями, ни беспрестанного, угрожающего шестивия «прямо к тебе в постель».

А что, внезапно подумал я, покосившись на Лину, почему бы нам с ней не иметь собственного дома, как говаривали в старину, очага. Я бы ловил неводом рыбу, а Лина пряла бы свою пряжу. Мне двадцать семь, пора причаливать к берегу, привыкать к преимуществам постоянного и отвыкать от преимуществ случайных встреч. Минутами мне казалось, Лина глубоко, искренне любит меня. Но почему я тогда сомневаюсь, какого такого неотразимого доказательства жду? Она меня волнует, мне с ней приятно, и когда я обнимаю ее, я готов верить в существование душевного родства...

11

И в этот самый момент раздался такой грохот, что мы оба вздрогнули. Грохотало со стороны веранды. В первое мгновение я ничего не мог понять, лежал обалделый. Потом до меня дошло: кто-то бьет кулаком в парадную дверь, и веранда гудит, как адский резонатор.

— Хозяева! — раздался хриплый голос.

— Ой, мы же, кажется, не заперлись! — пискнула Лина и панически потащила на себя одеяло.

Я вскочил, стал лихорадочно одеваться — совершенно не соображал, кого в такую пору могло к нам занести. Вот тебе тишина и безлюдье, вот тебе и абсолютное уединение!

— Эй, хозяева! — Человек был уже на

веранде, звякнули банки, покатилося опрокинутое ведро, он ругнулся. — Есть тут кто живой?

Я высочил босой на веранду, держа перед собой лампу.

Шаря по стенке руками, осыпая веники, стоял маленького роста мужичонка в толстом ватнике и шапке-ушанке. Через плечо перекинута ружье-одностовка. Свет ослепил его, он заморгал, заморщился носом-пуговкой, вглядываясь в меня.

— В чем дело? — плотно прикрыв за собой дверь, довольно недружелюбно спросил я, подумав: такой маленький, а столько шума. — Чего орете? Заблудились, что ли?

Мужичонка отступил к середине веранды, припадая на левую ногу, и схватился обеими руками за скрученный сыромятный ремень своей берданы, точно пытаясь таким образом сохранить устойчивость.

— Сторож я здесь, — сипло сказал он, моргая, и я сразу понял, поздний гость под хмелем. — Обхожу, вижу — печь горит, искры. А хозяева давно выехали. Как так? Обязан проверить — кто такие... Ты чего же, хозяин будешь? — спросил он и по ухмылке его на заросшем щетиной личике было ясно: он знает хозяев дачи, поэтому хитрить не стоит.

— Не совсем, — ответил я. — Но мы с их разрешения.

— Аха... так... гхм, — закивал согласно сторож. — И с кем тут?

— С женой, — сказал я. — Она уже спит.

— Ну да... аха, спит. Ладно... — как бы милостиво разрешил он и переступил валенками в растоптанных потрескавшихся галошах. Кажется, вопрос был исчерпан, и бдительному стражу можно было продолжать обход, но он не торопился. Босые ноги мои на холодном полу веранды уже окоченели. Я ждал.

— А как фамилие? — спросил вдруг он, и безгубый, в колючках рот его подозрительно напрягся.

— Моя, что ли, фамилия?

— Зачем — хозяев!

— Вы что же, не верите? — уже не злясь, а удивляясь служебному рвению дачного стража, спросил я.

— Верю не верю, а проверить обязан.

— Фамилию хозяев знает жена, — сказал я. — Не будить же человека из-за этого. Давайте отложим до утра, там разберемся. И простите, у меня ноги заоченели. — Для убедительности я пошевелил пальцами.

Мужичонка отпустил наконец ремень, обеими руками покрутил шапку, точно привинчивая ее к голове.

— Ночи теперь крутые, — согласился он и сухо шмыгнул пуговкой. — Работа окаянная — на морозном ветру, на холоду...

Ах, вон в чем дело — дошло до меня. Я быстро вернулся в избу, взял со стола бутылку и первый попавшийся стакан; не забыл сунуть на ходу ноги в туфли.

Лина шевельнулась под одеялом, шепотом спросила:

— Кто?

— Сторож это, я с ним потолкую, ты спи.

На веранде стояла заваленная травой низенькая раскоряченная скамейка.

— У меня только вино, а вы, наверно, крепкое предпочитаете?

Я разгреб на скамейке место. Мужичонка скособочился на бутылку, которую я вопросительно держал в руке, вздернул за плечом берданку, торопливо бормотнул:

— Ладно... это... сойдет. Плескни.

Стоя пить он не захотел. Присял на скамейку, сказал: «Максимом меня зовут, со знакомством, значаща», — хмыкнул и не спеша, с достоинством стал опрокидывать стакан. На дне забегало несколько чайнок, он лишь на секунду приостановился, и тут же чайники с последними каплями резво исчезли у него во рту.

Промакнув рот кулаком, поставил стакан рядом с бутылкой, в которой еще оставалось, слышно выдохнул:

— А сам чего жа?

Я покачал головой: не хочу.

— Нету нынче тех крепостей, — проговорил Максим, вытягивая из кармана ватника сплюснутую пачку «Прибоа».

Видать по всему, уйти от недопитой бутылки он не мог, не тот принцип.

Я вылил остатки в стакан, тем самым как бы поощрив Максима к дальнейшим дей-

ствиям. Он сразу же выпил, оттолкнулся от скамьи, решительно встал на ноги. И тут случилось непредвиденное. Он стал заваливаться, падать в сторону, да странно как-то, не подгибая ног, солдатиком. Я едва успел подхватить его, поддержать. Крякнув, он вздернул ремень, шагнул и снова стал падать — в ту же сторону. На этот раз я не успел, и Максим всем телом хряснулся о стену, загудела веранда. Бердана, соскользнув, щелкнула прикладом по стеклянной банке. Банка со звяком рассыпалась.

Я помог подняться ему, он, тупо глядя вперед, утвердился на ногах и шагнул два-три раза — и пошел стремительно клониться боком.

Я был поражен: когда он, в пять — семь минут, успел так вмертвую опьянеть? И от чего? От полутора стаканов портвейна «не тех крепостей»?

Но я понял другое. При любой разгадке этого феномена идти самостоятельно он явно не может.

Я задул в лампе огонь, вывел Максима за калитку.

Небо слегка отсвечивало, и на фоне его тускло очерчивались лишь вершины деревьев да кучные обрезы крыш. Ниже — все лежало в глухой вязкой мгле.

Я потряс Максима.

— Где вы живете?

Он махнул рукой: там. При этом сильно покачнулся, с него свалилась шапка. Я присел, пошарил вокруг рукой — нету, куда-то откатилась.

— Ладно, — сказал я, — утром отыщется, пошли. — Мне это изрядно стало надоедать.

Взяв в левую руку берданку, подхватил его правой поперек живота и почти понес. Дом Максима оказался не так далеко, но я, несмотря на ночную свежесть, крепко взопреп. Левая нога у него совсем уж не шала, волоклась, как неживая, даже странно.

Я протащил его в калитку, которую он мне указал, усадил на ступеньку крыльца, прилонил рядом берданку.

— Ну все, здесь сами докарабкаетесь. А не то выйдет ваша старушка и накостыляет мне шею.

Максим отцепился от меня, в темноте личико его совсем округлилось в тыковку; он гулко хлопнул ладонью по колену вытянутой ноги и вдруг просипел почти трезвым голосом:

— Это я думаю, чего валюсь. Это у меня, оказывается, протез-курва отстегнулся...

12

Обратно я шел быстро, почти бежал. Куртины палисадников слева и справа вздымались черными недвижными облаками. Ни огонька, ни звука. Вот и наш просвет. Спит ли уже Лина или ждет, недоумевая и тревожась: куда я запропастился? Волна нежности, какой я, кажется, никогда в себе не обнаруживал, омыла сердце: скорей, скорей! Я протянул руку к калитке — и сразу почувял неладное. Наша калитка закрывалась деревянной вертушкой, а здесь был какой-то проволочный крючок.

А, черт, досада. Я вернулся на дорогу. Ничего, сейчас сообразим. Ага, кажется, я не дошел малость — следующий. Но у следующего двора калитки совсем не оказалось: коридор из белеющего штакетника привел меня напрямик к двери чужих незнакомых сеней. Я снова вышел на середину улицы, решив, не торопясь, спокойно обдумать свою промашку.

С хромым Максимом мы двигались медленно, нога за ногу, а обратно я почти бежал. Это-то и нарушило мою пространственную ориентировку. Я просто-напросто пробежал!

Глаза мои присмотрелись к мраку и различали уже кое-какие предметы: водосливную бочку, два скворечника рядом над глыбой сеновала, врытый на углу двора рельс — ограждение лихому трактористу, телеграфный столб с перекладиной. Ни один из этих предметов мне ничего не мог подсказать: я их просто не помнил.

Наваждение какое-то, мистика, шальной сдвиг моей зрительной памяти! Я же абсолютно точно знал: дом, куда я стремлюсь, совсем недалеко, рядом; может быть, вон та черная масса — он и есть. Но стоило мне приблизиться, и я убеждался — нет, опять не то, ошибка. Разда два вламывался в какие-то ку-

сты, расцарапал щеку. Неужели, когда тащил Максима, проглядел какой-то поворот и потом напрямик выперся на соседний порядок? Где теперь этот поворот?

Лина там совсем в панике. Еще бы: ушел в ночь — и с концом. А она одна, и рядом пустые заколоченные дома, и даже собаки не гавкают, вывезенные в город или брошенные тут и молчаливо озлобившиеся.

Возле дороги затемнело — колодина, камень ли? Я решил присесть. Оказалось — вкопанная наполовину автомобильная покрывка. Я сел, уткнулся лицом в колени. В более глупом и беспомощном положении я, кажется, еще не был.

Одет я был легко — куртка на голое тело, туфли на босу ногу. А ночь с высоким, тускло серебрившимся небом так и оплескивает льдом. Я уже приготовил себя к позору. То есть, вернуться к Максиму, заставить его пристегнуть ногу и проводить меня, иначе я просто-напросто околею.

Каленым обручем стало сжимать поясницу, колючками поползло вдоль позвонков. Стукнули зубы, я поднял голову — и на какое-то время меня взяла оторопь. Не было дороги впереди, ни излома изгороди рядом, ни хоть слабого, но мерцания неба над головой. Кругом — только густая погребная мгла! Хотя бы крохотный ответ или полутень какая — будто накрыли меня шерстяным колпаком.

Я вскочил и, на шаривая ногами твердость натопанной земли, сделал несколько шагов, сам не зная куда. Я ощутил: на волосы мне и брови, на кожу рук, которые вытягивал вперед, как слепой, оседает пахнущая тинной водяная пыль. Тут стало доходить до меня, что это накатил с поймы речной туман.

Я бродил в тумане тихо, как лунатик. Трасса, когда я оступался с тропы, опаляла холодом щиколотки ног. Тело мое сотрясала дрожь. И я снова подумал о Лине, но теперь совсем иначе — недобро. Сколько времени меня нет — значит неспроста, случилось что-то. Могла бы побеспокоиться, вылезти из-под теплого одеяла, знак какой подать. Ну хотя бы позвать громко, я бы услышал. Вон какая тишина, пузыри в ушах лопаются.

...В доме было тепло и тихо. Так тихо, что я даже немножечко чего-то струсил. Я нашел спички, торопливо чиркнул — огонь выхватил из черноты угла резную спинку с кеглями, их острые тени прыгали по стене, точно сдуваемые ветром. Лина спала, крепко прижмурив ресницы. Лицо ее было покойно, почти безмятежно, по крайней мере мне так увиделось. Спала! Ей наверное снились легкие райские сны.

Печь давно загасла, но шершавые беденные бока ее были еще горячи. Я прижался спиной, затылком, меня бил озноб — стоял, пока не зажгло лопатки. Мне казалось, я так намерзся, что теперь уже не отогреюсь.

Утром проснулся я первым. Вспомнил ночные свои блуждания, идиотское состояние бессилия и ту спасительную минуту, когда бродя в крошечной тьме из улицы в улицу, от палисада к палисаду, наступил на шапку, потерянную Максимом прямо против нашей дачи.

Повернувшись к Лине, я долго смотрел на нее. Она свернулась калачиком, ладони в колени. Веки ее трепетали в последних отлетающих снах. Я осторожно протянул руку, ощутил сонное волнующее тепло ее кожи. Она, не открывая глаз, глубоко вздохнула.

В щели ставен пробивался свет. Серебряные нити рассеивали сумрак дома, высвечивали в желтом вихре разбросанных по подушке волос ее порозовевшее лицо. Она не спросила, где я был ночью, почему долго не возвращался. Вообще не разомкнула губ и глаза не открыла. Только дыхание участилось. И я уже было подумал: да проснулась ли она, не принимает ли меня за продолжение своего райского сна, — как она вдруг нервно шевельнулась.

— Вот только такую ты меня любишь!... — обожгла, прошептала она и столько горечи и отчаяния было в ее вырвавшихся словах, в гримасе губ, что я сразу и окончательно понял: это уже все...

То есть, я понял, что игра закончилась, а к серьезному я как-то не успел — а может быть, просто не мог — себя подготовить.

Через неделю комиссия приняла наконец

нашу линию, и долгая командировка моя в этот город подошла к концу.

Мы с Линой простились возле моего вагона. Прощалась она внешне спокойно, скользнула щекой по моей щеке, улыбнулась напоследок и ушла с перрона, когда поезд еще стоял. Меня это даже слегка обидело. Ее осеннее пальтишко в крупную клетку мелькнуло последний раз в толпе и смешалось с ней.

В большом уральском городе жили мы вдвоем с матерью, пенсионеркой. Мой отец, рабочий паровозного депо, в первый же год войны отбыл на фронт на бронепоезде, построенном в этом самом депо руками его товарищей, да так и не вернулся. Помнил я его смутно. Мать замуж больше не вышла. У нас с ней была квартира, полученная мной от завода. Две изолированные комнаты, одна из них, разумеется, была полностью моей. Но я ни разу не позволил себе привести женщину. Мой опыт не был так велик, как я это однажды кокетливо намекнул Лине, в ответ на ее наивный вопрос о подругах. Это была просто защитная реакция на всякий случай. И первая женщина, которая пришла ко мне в дом, стала мне женой. Случилось это спустя год после моего возвращения из затянувшейся командировки на фаянсовый завод. Женился я каким-то злым порывом. Точно подсознательно торопился отсечь все, что связывало меня с Линой.

Жена, выпускница юридического факультета, взглянула на брак как на нечто неизбежное, подводящее непрерывную черту под всю дальнейшую жизнь. Наверное, она была права. Ее чуть ли не первое супружеское слово: «Если мы не дай бог расстанемся, я замуж больше не выйду», — прозвучало как маленький трогательный ультиматум. А может, так все говорят? Или студенческая зубрежка гражданских законов на нее повлияла, что ли? Эти первые дни! Сладость ночных тайных разговоров, часто вполслова, вполфразы, одним дыханием. Сон и бодрствование вперемежку. Знобкие комнатные сумерки, первобытный язык прикосновений, головокружительные паузы... Минуты, когда закрепляются тончайшие душевные связи. Минуты,

когда они рвутся... Как-то в одну из таких минут она спросила меня стыдливым шепотом: — Почему это для любви люди ждут всегда темноты, ночи? — В порядке шутки я ответил: — Потому что, когда светло, есть дела поважнее. — А ведь верно, — согласилась она, подумав. Я только сжал зубы. Да так и не разжимаю их до сих пор...

13

Ровно в четыре я выбрался из кустарниковой аллеи, вошел в корпус.

В гардеробной мне велели разуться, выдали белый халат, большие матерчатые шлепанцы. Вслед за дежурной сестрой я поднялся на второй этаж. Коридор, покрытый голубым пластиком, блестел, точно застывший ручей. Я и шел по нему, как по льду, держа в руке в качестве спасительного круга сверток с гвоздиками. Коридор был бесконечным.

Шарканье моих безразмерных шлепанцев намного отставало от бодрого уверенного шелканья рядом каблучков. Встретилась пожилая санитарка с коляской, нагруженной тюком белья, пахнуло откуда-то супом, где-то звякнул звонок. Мы два раза сворачивали, миновали холл, весь в зарослях цветов, с круглым аквариумом, будто недреманное око, и парой низких кресел. В одном из них сидел мужчина в больничной пижаме, читал. Неужели здесь еще можно что-то читать? Интересно, что он читает?

Все это я фиксировал машинально, подыскивая мучительно первые слова, которые сейчас скажу, которыми объясню свое появление. А может, надо было сперва записку послать?... Ну, чего теперь об этом — поздно...

Шелканье каблучков прервалось, дежурная обернулась, сказала: «Подождите, пожалуйста», — и скрылась за высокой дверью.

Не было ее минуты. И за эту минуту нервы мои совсем расходились. Я отошел к окну, стараясь успокоиться.

Стукнула за спиной дверь. Выйдя и приглашая жестом меня, дежурная заметила строга:

— Больная только что с процедур, утомлена, постарайтесь не утруждать ее слишком.

Лину я нашел глазами сразу. Койка ее стояла у стены — прямо от входа. Она полулежала на высоко поднятых подушках, укрытая одеялом по пояс, — коротко, до плеч, остриженная, чуть похудевшая, с легкой под глазами тенью. Но в общем изменилась мало. У меня в мгновение тихой ползучей болью защемило сердце: такой близкой и родной и одновременно такой отчужденной она мне увиделась среди этих белых казенных стен — не ожидал, не думал, не мог предвидеть!..

В палате были еще две койки, одна пустовала, а на другой, опустив на пол ноги, сидела пожилая женщина в толстых очках, вязала...

Пока я подходил, лицо Лины оставалось напряженным — не узнавала, что ли? Поодаль стоял стул, я прихватил его за спинку, перенес поближе к койке, сел. Я старался держаться как можно непринужденнее — наверняка это мне плохо удавалось.

— Ну, здравствуй, — с усилием сказал я, развернул бумагу и положил на тумбочку рядом с изголовьем цветы.

— Господи, — выдохнула Лина, не сводя с меня глаз. — Сестра говорит: к вам пришли, у меня сразу мелькнуло: Женя вернулся. Почему, думаю, так рано, что стряслось? А это ты... Невероятно... откуда?

— Проездом, — сказал я.

Она продолжала вглядываться в меня, будто все еще с трудом узнавала.

— Значит, все едешь?

— Да вот езжу. Работа такая. Сейчас, правда, меньше.

— И часто ты бываешь здесь... проездом?

— Да нет, с тех пор — первый раз.

— Все такой же, — сказала Лина и вдруг улыбнулась растерянно, пригладила у виска желтую прядку. — А я волосы обрезала. Зря, правда?

— У тебя были великолепные волосы, — сказал я. — Но короткая прическа тебе тоже идет.

— Зато хлопот никаких, особенно с мытьем, — как бы не соглашаясь со мной, заметила Лина.

Нет, все же она похудела, а голос стал мягче, женственней, что ли? Как она жила

эти шесть лет, что думала обо мне? Давно ли вышла замуж?

А спросил я самое обычное:

— Как себя чувствуешь?..

— А всяко! С утра совсем ничего не чувствую. А к вечеру... Да нет, чего там... Вот процедуры досаждают. Так ведь на то и больница... Ой, цветы,— вдруг сказала, спохватилась она, беря в руки гвоздики,— их бы в воду надо.

Женщина, сидевшая на соседней койке, отложила вязание, взяла со стола графин.

— Я сейчас принесу.

— Спасибо, Мария Алексеевна,— поблагодарила Лина.

Мы остались вдвоем...

Теперь, вблизи, в лице ее, в тенях глаз, мне почудилось тщательно скрываемая взволнованность — или это оттого, что исчезло напряжение первых минут?

— А ты как? Живешь-то? — спросила она.

— Нормально.

— Семья?

— Дочке три годика,— сказал я.

— Ой, дочка. А у меня сын. Я ждала дочку, да и врачи предсказывали, а оказался сын. Славный такой человечек. Жаль, ты его не увидишь.

— Я видел его,— сказал я.— Встретились вчера в поезде, случайно.

Лина пристально стала всматриваться в меня, как бы с трудом вникая в то, что я произнес. Слегка побледнела.

— Как встретились?.. Погоди, его в самом деле Женя вчера поездом повез к маме. Господи, ты что, так вот и... узнал его?

— Иначе бы я не сидел здесь.

— Неправда, ты не мог узнать,— проговорила Лина жалобно, сразу напомнив мне интонацией ту Лину — пришедшую когда-то ко мне в комнату с обожженными на пляже плечами.

— Представь — узнал.

— Неправда... нет,— упрямо повторила она.

Вернулась в палату Мария Алексеевна с графином воды, налила в пустую бутылку из-под кефира, поставила на тумбочку. Лина стала проталкивать цветок за цветком в бу-

тылку, стебли в горлышко не попадали, ломались. Соседка снова вышла, мы оба проводили ее молчаливыми взглядами. Вода в бутылке ртутно светилась, отбрасывая игольчатые блики. И тогда я спросил:

— Лина, почему ты мне не сказала?

Она осторожно поправила одну гвоздичку, перевела на меня взгляд.

— Что я тебе должна была сказать?

— Ты же прекрасно понимаешь — что.

— Нет, не понимаю.

— Лина, я же видел его своими глазами.

— Ну и что?

— Да ты погоди — как «что»?

— Вот именно.

Разговор зашел в тупик. Я замолчал.

Она протянула над головой обе руки, ухватилась за спинку кровати, морщась подтянулась — никак, видно, не могла найти своему телу удобного положения. Под распахнувшимся воротом засветился уголок бинта. Эта слабая гримаса боли, которую она не сумела скрыть, и этот уголок бинта, перетянувшего грудь, вдруг напомнили мне реальность окружающей обстановки. Острой жалостью и виной царпнуло сердце. К чему затеял я этот разговор — запоздалый, эгоистичный, продиктованный разве что лишь моим уязвленным самолюбием, чем же еще?

— Ну зачем бы я тебе сказала? — Лина смотрела уже твердым, открытым взглядом, руки ее спокойно лежали вдоль тела. — Ты же слабый человек... Нет, ты хороший, добрый, но ты слабый. И ты мог остаться. Из-за ребенка. Пойми, что бы это у нас за жизнь была?.. А сейчас я счастлива... любима.

«Счастлива... любима...» Да где мы, черт побери, находимся?!

Теперь-то я видел отчетливо: она утомлена, дышит сквозь полураскрытые губы. Розовые пятна на скулах. Надо прощаться, уходить. Но я никак не мог решиться. Я спросил:

— А ты любишь его?

— Да, но совсем по-другому, совсем по-другому! — быстро произнесла она, и я с запозданием понял: мучительно ждала, не хотела этого моего вопроса. — Женя мой прекрасный человек, сердечный, умный. Мне с

ним хорошо, покойно. Я бы без него... Шурик зовет его папой, они большие друзья...

Глаза ее влажно заблестели, но она справила с собой, улыбнулась, замолчала. Потом спросила:

— Как зовут дочку-то?

— Дашенька.

— Ой, молодцы. А я поддаюсь моде. Сашек сейчас кругом — пруд пруди... Хотела бы я взглянуть на твою Дашеньку.

Я подумал, спросит сейчас про жену, но она не спросила, и я благодарен был ей за это.

Помолчали.

— А Шурик, что, не ходит в садик? — спросил я.

— Ходил зиму, а сейчас у них ремонт затеяли, куда его? Ну, Женя говорит — давай к маме...

Поговорили еще о чем-то — незначительном, случайном. Вспомнили общих наших знакомых по заводу. Лина рассказала, в прошлом году они все втроем ездили в отпуск на ее родину, на Владимирщину, ее там звали оставаться, была работа, но она не осталась. Женя у нее инженер-металлург, проектировщик и без своих домен жить не может...

— Лина, — решился наконец я, — мне пора, у вас тут порядки суровые.

Она слабо и как-то напряженно кивнула головой, смежив на мгновение ресницы, протянула руку. Я прикоснулся губами к шершавым косточкам пальцев. Потом, склонившись, взял в ладони ее лицо, не удержался, стал целовать — глаза, волосы, горячие полуоткрытые губы, тугие на груди бинты.

И тут нервы ее сдали. Она заплакала — тяжело, навзрыд, сквозь спазмы. Ее точно прорвало.

— Зачем ты пришел?.. Зачем ты пришел?.. Зачем ты пришел?.. Чего тебе от меня?.. Шесть лет... ни письма, ни звука... Ты умер, понимаешь ты? Умер, исчез... растворился, тебя не существует в мире... не должно существовать... — Ее лихорадило, руки цеплялись за мои склоненные плечи, за шею, одновременно отталкивая, а сам я точно падал в пропасть. — Господи, кому нужна была ваша встреча в поезде... перед кем я еще провинилась... Если бы я не родила, я не смогла бы

жить... Понимаешь? Сашенька меня спас... он меня спас... Это чудо, что я его тогда почувствовала... — Она задохнулась, невольно замолчала, потом — уже сдержаннее: — Я ушла из общежития, сняла угол, спряталась ото всех... Первое время, пока не родился Саша, со мной творилось что-то необъяснимое, кошмарное... Дом оказался с домовым. Исчезали прямо из-под рук разные мелочи, сами собой отключались электроприборы... Возненавидела часы, на ночь упрятывала их под матрац — они грохотали... Я устала от любви к тебе мертвому...

Она постепенно затихла — выплеснулась. Ладони ее соскользнули с моих онемевших от напряжения плеч.

— Что же мы с тобой наделали... ведь я любил тебя, Лина, — пробормотал я, ошеломленный и обескураженный ее вырвавшимся признанием.

Она качнула головой высвобождаясь.

— Нет, не надо. Хотя сейчас не надо... Это я любила. Да как-то ненормально, будто в угаре. А у тебя было другое. Я же видела, чувствовала и мучилась... Помнишь ту нашу дачную поездку? Она ведь была нашим прощанием. Я ее затеяла, и я знала...

— Прости...

— За что, милый? — Она откинулась на подушку, стала глядеть в белый потолок. — Ты не виноват. В этом, должно быть, никто не бывает виноват... Когда нас любят, мы приписываем это себе, своим достоинствам. Когда же нас перестают любить, мы ищем причину где угодно, только не в себе самом...

Кому это она сказала: мне, себе? Я встал, она тоже — приподнялась на локоть, придерживая у горла распахивающийся халатик, прощаясь.

...Я вышел на крыльцо, остановился, спешить мне теперь было некуда. Некуда теперь было мне спешить — вот в чем дело. Поезд мой уже ушел, следующий будет только завтра, после полудня, если достану билет. Тонкой болью покалывало затылок, я присел прямо на ступеньку с ужасающим ощущением опустошенности, крепко зажмурился. Солнце неумолимо опускалось к горизонту, красновато слепило сквозь веки. Неужели, думал я,

нужны годы, потрясения, подобные пережитому мной вчера в поезде и сейчас в больничной палате, чтобы понять то, что должно быть понято сразу, с самого начала, — или уже оставалось бы непонятным до жизненного конца...

14

И еще одну ночь провел я на железнодорожном вокзале, а утром с гудящей головой снова поехал в больничный городок.

Я дождался, когда возле справочного окошка никого не будет, подошел. Поздоровавшись, спросил, как прошла свадьба.

Оля узнала меня, улыбнулась полненькими губками, глаза красные, невыспавшиеся. Таким, наверное, выглядел со стороны и я.

— На уровне мировых, — сказала она. — Родители подарили молодым столовый сервиз из сорока восьми предметов!

— Ого, зачем же так много, особенно молодым?

— Дареного много не бывает, — засмеялась Оля и привычным движением прикоснулась несколько раз к прическе, хотя та уже не имела вчерашнего праздничного вида — свадьба свое взяла. — А как чувствует себя ваша знакомая, виделись?

— Да, Олечка, спасибо вам. Теперь я ваш вечный должник. Но у меня еще просьба, последняя. — Я достал из баула плитку шоколада. Под обертку с одной стороны подсунул я трехрублевку, а с другой — заранее написанную бумажку. — Здесь, — сказал я, — мой адрес и для памяти — имя моей знакомой, отделение, палата... Олечка, если с ней что-то вдруг случится, станет плохо... совсем плохо... вы понимаете? прошу вас — отбейте мне телеграмму. Из одного только слова: «Приезжайте». Вы общаете? Мне не к кому здесь больше обратиться.

Оля, выслушав, пошевелила бровками, покосилась на шоколадку.

— Хорошо. Только шоколад заберите, за какую вы это услугу, разве не понимаете?

— Простите, Оля, не подумал, хотел как лучше. Тогда можете угостить своих подруг.

— А если нет? — спросила Оля.

— Что — нет?

— Если все будет хорошо? Сейчас отсюда многие выздоравливают.

— Тогда прекрасно. Тогда телеграммы не надо, и я буду знать, что...

— Нет уж, чего захотели. Если все будет хорошо, я отобью телеграмму на все ваши три рубля. Вот!

— Вы чудесная девушка, Оля. Впрочем, я уже это вам говорил. Правда, буду ждать длинную телеграмму, обязательно длинную.

После полудня усталый и разбитый двумя бессонными ночами сидел я в поезде, в общем вагоне — других билетов в кассе не оказалось. Место мое было у окна, у самого входа. Когда открывалась дверь, из тамбура гулом врывались стук колес, звяканье сцепки, волной проходил мимо воздух.

А за окном проносился тот же полустепной пейзаж, что и два дня назад, — веселые ленты сквозных перелесков, кругляши солончаковых озер, проселочные безымянные дороги в никуда, одиноко пылящие, точно заблудившиеся, грузовички на них. И все тот же долгий, многочасовой безостановочный перегон...

Телеграмма пришла через полтора месяца, в ней стояло не одно слово, а два: «Приезжайте скорей». Я был внутренне готов, кажется, к этому, но все равно телеграмма меня ошеломила.

Я решил лететь самолетом.

Погода на этот раз была ветреной и пасмурной. Накануне пролил дождь, и асфальтированная площадка перед седьмым корпусом вся морщилась рябью луж. Грива кустов вокруг отяжелела, кое-где слабо пробивалась янтарем, и стволы тополей налились влажной сочащейся чернотой.

В палату меня на этот раз не допустили. Я так понял, что Лины там уже не было, — куда-то переведена. Не помогли ни мои уговоры, ни командировочное удостоверение, которое я предусмотрительно прихватил. Не помогло ничего. Вам сказали нельзя — значит нельзя.

Я стоял на широком крыльце корпуса, не знал, что делать, в полной душевной подавленности. Грохот авиационных двигателей,

толчея аэропортовских очередей, нервотрепка летнего воздушного пути — все это еще не остыло во мне, гудело и словно подталкивало к действию — куда-то бежать, что-то предпринимать. Но куда и что?

Возле раскрытого колодца двое рабочих звякали инструментом, налаживали мотопомпу, деловито поругивались. По бумажной обертке от мороженого ползала оса. Ветер завихрялся вокруг урны, двигал со скрипом бумажку, оса взлетала и снова упрямо садилась — жалкая жертва дешевых городских сладостей.

Вдруг я увидел: по ступенькам подымается мужчина. Смуглый лоб, широко расставленные глаза, в лице выражение сосредоточенности.

Я узнал его.

Он прошел мимо, даже не взглянув на меня, торопился. В руке авоська с большим немелом свернутым кулком из газеты. Кулек раскачивался при каждом шаге, вертелся, ударял по плашу.

Я медленно перешел асфальтированный мокрый двор, свернул в аллею, остановился. Вот и скамья из узких крашенных реек. Рейки полиняли, кое-где облупились — дождь и солнце делали свое дело. Неужели прошло только шесть недель? Если, как тогда, присесть на скамью, видны будут окна, третий и четвертый этажи, а второго этажа только половина...

Застучала, зафыркала нервно мотопомпа — заглохла. В наступившей тишине дробно щелкнули по листве, по моей склоненной спине, запузарились в лужах капли начавшегося дождя.

Я не заметил, как он вышел из дверей, как спустился по ступеням на площадку. В длинной обвисшей сетке по-прежнему болтался газетный кулек. Взгляд его блуждал, а лицо остановилось в гримасе такого потрясающего горя, что казалось — сейчас он упадет на колени перед любым встречным, чтобы умолять о помощи. Глядеть на него было мучительно, я невольно отвел глаза.

Он прошел в стороне, шаркающие шаги его удалялись в глухую, безлюдную глубину аллеи.

Я зря боялся встретиться с ним глазами, он никого не видел, не хотел видеть.

Он остановился под тополем, ткнулся головой в ствол. Потемневшие от дождя плечи его затряслись. Из авоськи, из разорванного намоченного кулка посыпались на землю крупные ярко-красные ягоды викитории...

15

...С тех пор прошумели годы.

Он давно уже расстался со своей беспокойной, непоседливой работой. Легкий дорожный из кожзаменителя баульчик сменил на перетянутый ремнями портфель — заведует сектором в отделе главного конструктора. У него как будто неплохо получается. Недавно с коллективом выдвинут на государственную премию. На последней международной ярмарке автоматику их завода закупили несколько стран, говорят, даже японцы заинтересовались. В командировки в Сибирь, да и в другие наши дальние уголки не ездит — главным образом, в центр, в Москву. У него по всем признакам благополучная стабильная семья, дочь-студентка, заботливая жена (не сбылась примета детства, не сбылась!), квартира со стенкой «коперник», набитой подписными изданиями. В гараже неподалеку от дома новенький «жигуленок», к которому он равнодушен — купил исключительно ради престижа и уступая настойчивым просьбам жены. Он ему нужен так же, как те получаемые им приглашения на парадные заседания, юбилейные торжества, на которых он бывает без всякой охоты, но если вдруг не получает иногда — испытывает беспокойство.

Словом, все у него на уровне и, как говорит один его приятель, старый журналист, человек пронизательный, прямой, не страдающий манией чинопочитания, «какого тебе еще рожна»?

Но почему тогда время от времени — и чем дальше, тем острее, беспокойней — накатывает минута, когда хочется ему бросить все. И свой руководящий портфель, и едва обьежженные «жигули», и квартиру с импортной стенкой, и даже будущее вероятное лауреатство. Разыскать старый свой баульчик, купить в

общей кассе билет и махнуть в тот далекий и дымный сибирский рабочий город, где, должно быть, и поныне живет мальчишка с двумя вихорками на затылке. Все, что досталось ему от человека, о существовании которого он вряд ли догадывается.

Но ничего подобного он, разумеется, не предпринимает.

Лишь иногда — за гостевым домашним столом или на званом обеде, — пользуясь моментом, наливает он себе шампанского, бросает туда шоколадку — отрешенно смотрит, как, густо серебрясь, качается она из стороны в сторону, а потом ложится на дно и затихает,

будто живая. И господи, какая волна подымается в его душе, когда он наблюдает это простенькое, нехитрое действо. Ему начинает казаться, что это все, что осталось ему от молодости, от того времени, когда нет цены реальному настоящему, а есть лишь прекрасное будущее, и оно охотно, бестрепетно обещает все, что мы интуитивно, неясно, с отдаленной приближенностью обозначаем как счастье.

И если кто-то рядом произносит тост, он тоже, не отставая от всех, подымает стакан, но пьет за другое, за свое. За невысказанное.



ДЕНЬ, ВЫРВАННЫЙ У ГОРЫ

РАССКАЗ

Столяров спал. Тяжелый перфоратор утробно ревел, покачиваясь из стороны в сторону. Упасть ему не давал бур, глубоко ушедший в монолит песчаника. Штанга молотила вхолостую, разбивая своими ребристыми гранями закраину готового шпура. Привалась грудью к затылку перфоратора, Столяров качался в такт круговым движениям молотка, и каска у него съехала на глаза, обнажив на затылке розовую проплешину. Отработанный сжатый воздух, вырываясь из молотка синеватой струей, бил ему прямо в лицо.

Все это увидел Валька Куколев в тот момент, когда менял на своем молотке забурник на длинную штангу. Он распрямил ноющую в пояснице спину. Шесть молотков, отплевываясь маслянистым воздухом, намертво закладывая своим грохотом уши, ревели во всю мощь. Пять из них вонзили свои буры на уровне второго ряда шпуров, а столяровский почему-то задержался на третьем ряду. Это-то и озадачило Вальку.

— Чего это он, — недоуменно протянул он и тут же присвистнул:

— Вот дает!

Случись такое в ночную смену, Валька бы нисколько не удивился. С кем греха не бывает? Сам на себе не раз испытал: чуть отключился от забойной крутоверти, и на тебе, уже подхватывает тебя мягкая волна безволия и покоя. Самым удивительным было то, что в такой короткий миг небытия Валька успевал порой даже сон увидеть. И чаще всего один и тот же: лежит он на мягкой луговой травке,

а над ним в синем бездонном небе жаворонок выводит свою незамысловатую песенку.

Но такое бывало только глубокой ночью, когда иной раз и бригадир Макар Богданов глядел на всех осоловелыми глазами, словно их обожгло морозом. Сдерживая усилием воли спазмы зевоты, он в такие минуты ярился больше обычного. Вальке и доставалось больше всех, потому что он у бригадира как вестовой у взводного: слетай туда, принеси это. Другого, может быть, такое положение и смутило бы: дескать, сколько можно на подхвате быть. Только так мог подумать человек со стороны, не знающий преимуществ, которые сами по себе открывались перед Валькой, пока он метался по забою, исполняя короткие, как удар топора, команды бригадира. Метеором носился Валька, становясь неожиданно для самого себя и других проходчиков вторым человеком в бригаде после Богданова. А главное — был в центре событий. Где бы что ни произошло — Валька тут как тут: примчит потом бригадир, он ему все расскажет, нарисует картину. По этой причине, наверное, Валька и Столярова спящим первым увидел. Да вот только замешкался малость, смутился: как быть?

Столяров спал в начале утренней смены. Валька хотел было уже двинуть к Столярову, но в этот момент из глубины забоя вынырнул Богданов. Он отгонял машину, чтобы ее не разнесло крупными глыбами монолитного песчаника при отпалке. Порода была крепкой, поэтому в последнее время взрывчатки клали чуть не в два раза больше, чем предусматривалось по наслуху. Благодаря этому удалось

сохранить прежние темпы продвижения забоя. Но приходилось и расплачиваться за двойную порцию аммонита: летели со страшной силой негабариты, смета на пути все подряд. Поэтому надо было хитрить перед отпалкой: убирать подальше машину и оборудование, намертво расклинивать временную крепь. Каждый взрыв взвинчивает у бригадира нервы: устоит или нет забой на этот раз? Валька знал: в такой момент лучше не попадаться под горячую руку Богданова. И потому, когда увидел его в забое, невольно вздрогнул.

Бригадир опередил Вальку. Он метнулся к Столярову. От легкого толчка в плечо тот чуть не упал, резко качнувшись на подогнувшихся в коленях ногах.

— Кончай ночевать! — крикнул ему в самое ухо Богданов.

Столяров дернулся, испуганно и удивленно раскрыл затуманенные сном глаза. Все проходчики на минуту выключили бурильные молотки, и в забое установилась непривычная тишина, нарушаемая лишь тонким шипением сжатого воздуха, прорывающегося сквозь слабо затянутый штуцер.

— Ты чего это? — готовился брать разбег Богданов, чтобы уже на следующем вздохе обрушить на провинившегося лавину обидных, бьющих по самолюбию слов.

Но не успел. Сбив каску на затылок, Столяров, нисколько не смущаясь от конфуза, в который попал, только махнул рукой:

— И не говори, Макар, — сказал он сокрушенно. — Ночью Настю в роддом водил. Пока то да се, прилечь не успел. Так на ногах всю ночь и прокрутился...

— Опять никак сына ждешь? — удивленно уставился на Столярова бригадир.

— Выходит, так, — потупился Столяров.

— Да ты что, ошалел? — недоумевал бригадир. — Шестерых девок наклепал одну за одной, теперь наверняка седьмую жди.

— Тут как рассуждать, — не согласился Столяров. — Ежели медицину послушать, то, по ней, на этот раз непременно мальчонка должен быть. Все приметы сходятся. Настя уже давно жалуется: брыкается здорово.

— Тебе, Столяров, не в забое работать, а в роддоме акушеркой, — отмахнулся Богданов.

Увидев Вальку с широко раскрытым ртом, мужиков, подмигивающих озорно друг другу, бригадир не выдержал, зашелся в крике, переметнув всю свою энергию на безответного Митрохина:

— Ты-то что уши распустил! Сам бракодел, трех девок заимел, а над товарищем похихикиваешь?..

И, уже обращаясь ко всем бурильщикам, закончил:

— Забыли, что ли, какой нынче день?

Митрошкин молча первым толкнул от себя пусковой рычаг молотка, и его тонкое, щупловатое тело забилося мелкой дрожью. Забой вновь наполнился грохотом. Теперь все шесть молотков вонзили свои поблескивающие буры в песчаник на уровне второго ряда шпуров. Оставалась самая малость: пробурить нижний ряд — можно заряжать забой.

Убедившись, что все пришло в свой привычный ритм, Богданов поспешил к машинисту электровоза Мишке Фролову, чтобы отправить его на аммоналку за взрывником. Эту уловку совсем недавно придумал Богданов. Чтобы не гонять трех проходчиков за взрывчаткой на склад, тем самым теряя время, решил в обход техники безопасности пристроить к этому делу Фролова, который был недавно придан его бригаде.

Сам Богданов отлично понимал: затея эта может не пройти. И потому решил посоветоваться с руководством. Если бы Валька случайно не задержался после наряда, чтобы подписать требование на получение тормозных лент, он никогда бы не узнал, как родилось это бригадирское новшество. Как только Богданов заговорил о доставке аммонита на электровозе, начальник участка молитвенно сложил руки на груди:

— Без ножа режешь. Сам знаешь, что я не против, хотя прав отменить этот закон не имею.

— А как просочится выше?

— Вот тогда будем доказывать, что техника ушла вперед, а правила устарели, — решительно хлопнул по столу ладонью начальник участка. — Рекорд ставить, да риска не испытать...

Но когда Богданов уже готов был захлопнуть за собой обшарпанную дверь нарядной, начальник все же не выдержал, вскинулся за столом:

— Слышишь, Макар Саввич, ты давай действуй, но я об этом не слышал. Понял?..

Богданов в сердцах процедил:

— Как не понять. От премии за рекорд не откажешься, а решить такое дело духа не хватает!

И хотел было уже треснуть с досады дверь, но тут увидел Вальку, перекинул на него свою обиду:

— А ты что тут ошиваешься? Бригада давно в забое, а ты все шлындаешь.

В другой раз Валька бы непременно напомнил бригадир, что именно он направил его выписать новые тормозные ленты. Но вступать в спор под горячую руку не хотел. Уже в ламповой, затягивая широкий брезентовый пояс с аккумуляторной батареей, бригадир заговорщицки подмигнул Вальке:

— А мы все равно по-своему сделаем.

Вальке было интересно узнать, как поведет себя Фролов?

Услышав первый раз приказ катить к аммоналке, Мишка опешил:

— Ты чего, Макар Саввич, за Пе Бе не расписывался или запамятовал?

Богданов скрипнул зубами:

— Не учи отца, понял?— и, покатав крупные желваки на скулах, закончил, как клин под огниву вогнал:— Забыл, что тебя в комплекс включили, будешь наравне с проходчиками получать. Бригада на рекорд идет, а ты вчера два раза среди смены на-гора курить мотался. Табачищем-то на версту несло. Не хочешь на котел работать, моментом другого машиниста найдем.

У Фролова жаром полыхнуло лицо. Он уже успел своей жене все уши прожужжать, что его как лучшего машиниста сам директор шахты попросил помочь бригаде Богданова установить рекорд. Особенно Мишка напирал на то, что будет получать как проходчик раза в три больше, чем на участке транспорта. Мария вмиг сообразила выгоду перехода мужа в комплексную бригаду, заявив:

— Возьмем чехословацкую хрустальную

люстру с висюльками, как у Таньки Ведерниковой. Думает, если у нее Петька в лаве на комбайне денежки заколачивает, то другим до них не дотянутся.

Лично Мишке во всем этом важно было другое: он, кажется, сумел Марии показать, что он на шахте — фигура. И, чтобы окончательно закрепить победу, пообещал:

— Дадим рекорд, я тебе не только люстру, самый дорогой перстень с рубином или александритом подарю.

И вот теперь, припертый к стене, Мишка лихорадочно соображал, что сказать бригадир. Он досадливо скребнул пятерней затылок.

— Я хоть атомную бомбу привезу,— глядя в глаза бригадир, сказал Фролов.— Только ежели инспектор застучает, плакали у бригадира премиальные, а у меня — правшишки.

— А ты денег не жалеи,— успокоил бригадир.— Вали в случае чего на Богданова, авось и права целы будут.

— Тогда какой разговор,— обрадованно метнулся к электровозу Мишка.— Наше дело шоферское...

— Видал?— спросил Богданов у Вальки, когда Фролов покатил к аммоналке.— Обиднее всего, что правила писаны эти бог весть когда, и ни у кого не поднимается рука внести поправку, каждый за себя боится.

— А ты, Макар Саввич?— спросил Валька.

— А я что?— пожал плечами Богданов.— Дальше забоя не сошлют, а в бригады я не напрашивался, сами заставили...

Первый урок пошел Мишке на пользу. Попав как пескарь на бригадирский крючок, он заметно изменился. Горячая работа в забое, к которой и он имел самое прямое отношение, наложила на Фролова отпечаток. Теперь, пригнав порожняк или «козы» с лесом, он тут же спешил на помощь проходчикам. Где тяжелую лесину поможет забросить на полукрепильщикам, рельс принести при перестилке временного пути, а то и глину для пыжей сядет катать. Тоже работа, если прикинуть, что кто-то из проходчиков должен заниматься час, а то и полтора. Видя старание машиниста электровоза, Богданов заметно подобрел к нему. В комбинате он первым подавал Фролову руку, улыбаясь открыто, доверительно.

— Здорово, механизатор!

И Мишка бесом крутился, чтобы еще больше завоевать доверие бригадира. Пожимая твердую короткопалую пятерню бригадира, думал: «За такие деньги с чертом целоваться станешь».

Но вслух говорил совсем о другом:

— Отметь меня на наряде, Макар Саввич, а я помчусь в шахту, к стволу пассажирские вагоны подам, чтобы звено зря времени не теряло.

Это новшество Фролов придумал сам. Чтобы не тащиться проходчикам до своего забоя битый час, предложил возить бригаду на работу и домой к стволу в пассажирских вагончиках. Затея понравилась всем. И от этого другие горняки следом за бригадиром стали приветливей встречать Фролова.

Шагая с Валькой в забой, Богданов удовлетворенно подумал о машинисте: «Паренек-то вроде понятливый. А то поначалу приклатненным показался...»

Прижимая покрепче к забою пляшущий на пневмоподдержке молоток, Валька изредка поглядывал в левый угол выработки, где был Столяров. Валька робел перед ним, стараясь скрыть это за напускным равнодушием. Во время вынужденного перекура, когда была обесточена линия, питающая двигатель погружной машины, а бригадир трусцой побежал к телефону, чтобы поднять начальству «пары», незаметно для себя проходчики с разговора о забойных делах переключились на житейские. Столяров, сведя густые брови к переносице, так что они образовали одну линию, спросил озабоченно:

— А что, мужики, не знаете, где моим девкам путевых женихов найти, не патлатых стилист?

Пашка Потемкин, которого недавно жена выгнала из дома за пьяные дебоши, смерил Столярова презрительным взглядом:

— Тоже мне, нашел ходовой товар. Вот если бы ты предложил после смены выпить, не отказался бы. А бабы — тыфу!

— Чего-чего? — оттирая плечом Потемкина из круга, ввязался в разговор Игорь Анчишин. — Ты свою жену, детишек на водку

променял. Неужели думаешь, что и другие таким же понятием живут?

— А ты что, святой? — обнажил в скептической улыбке прокуренные зубы Потемкин. — Что-то в мойке крылышек ангельских не примечал.

— Ясное дело, не святой, — отмахнулся Анчишин. — Но и бить спяна мать своих детей — последнее дело.

И не дав возразить Пашке, кивнул головой на Вальку:

— Молодых постеснялся бы. Послушает твои выступления, поверит, что любовь только до первой ночи, а дальше — шалман. Водка — не главное в жизни...

— Это верно, у каждого своя забота, — подхватил Столяров, обрадовавшись, что нить разговора не оборвалась. — Одному выпить хочется, а мне — девок пристроить.

— А чего долго искать? — улыбнулся Анчишин. — Зови вон Валентина. Жених на все сто: не пьет, не курит, матюгаться даже толком не умеет.

От этих слов Валька смутился, буркнул недобро:

— Нашли о чем языки чесать.

— Да ты не тушуйся, — приободрил его Анчишин. — Столяров худой товар не предложит, девки что надо.

— Трое у меня на выданье, — подхватил Столяров. — Выбирай, Валентин, любую: все нецелованные...

— А ты откуда знаешь, — прищурился Потемкин. — Поди, давно науку прошли, всему обучились...

— Ох и язва же ты, Пашка, — досадливо пожал плечами молчавший все это время Митрошкин. — И как у тебя только язык поворачивается? Правильно сделала жена, что турнула. Тебя, холеру, и из бригады не худо наладить, потому как нет у тебя уважения к нашему горняцкому товариществу. Все шипишь, как гадюка подколотая, каждого готов укусить...

— Это я-то гадюка! — взвился Потемкин, и в руке у него блеснул топор. — Зашибу!..

Столяров молниеносным движением перехватил своей огромной ладонью отведенный за спину Пашкой топор, рывком дернул на

себя. Потемкин потерял равновесие, качнулся. В этот момент Анчишин снизу вверх ударил Пашку, и у того перехватило дыхание. Выкатив из орбит свои бесцветные глаза, которые враз набрякли слезами, он широко раскрытым ртом хватал воздух, сломившись в пояснице, хрипло давился словами:

— Все, все сволочи...

— Ладно, успокойся, — проговорил Столяров, кинув отобранный топор на борт выработки. — Пошумели и хватит...

— Действительно, кончать надо эту лавочку, — поддержал Анчишин. — Сейчас прилетит Богданов, а в забое гора трупов. Пойдемте лучше крепильщикам поможем, больше толку будет.

Так неожиданно закончился этот разговор. Столяров после еще не раз жаловался мужикам, что не знает, как определить своих девок, но свататься Вальке уже не предлагал. А тот никак не мог поймать подходящего момента, чтобы с глазу на глаз сказать Столярову о том, что уже давно знаком с его Наташкой. Оно, конечно, доведись Вальке жить с родителями, тут все было бы ясно. Он отлично помнит, как его отец ходил сватать невесту для старшего сына к соседям. Все было чинно и благопристойно, словно в театре, где каждый из участников спектакля отлично знает свою роль.

Валька жил в общегитии. Дружками обзавестись не успел. Работа в забое выматывала так, что на разговоры с парнями-одногодками времени почти не оставалось. Свободную минуту спешил с Наташкой провести, с которой познакомился на танцах. Вальке нравились ее густые черные брови, округлое лицо с крупными, цвета спелой вишни, глазами. Он нередко ловил себя на мысли, что думает о том, на кого Наташка похожа? И однажды узнал. Они стояли в проулке, неподалеку от Наташкиного дома. И вдруг она дернулась, спряталась за спину Вальки.

— Ты чего? — удивленно протянул он.

— Отец идет, — прошептала она ему в ухо.

Валька глянул и растерянно отвернулся. Из калитки шел Столяров, прошагал мимо, не узнал.

Все это вспомнил Валька, поглядывая вре-

мя от времени в левый угол забоя, где, упершись плечом в затыльник молотка, Столяров ломил, как бык, стараясь яростной работой загладить свою вину перед товарищами. Но, весело посмеявшись, бурильщики тут же и забыли о промашке Столярова. Было не до этого. Их сменой заканчивался месячный срок работы по скоростному графику. Шахте нужен был пласт Калтанский. От его вскрытия решалась судьба следующего года. Сумеют проходчики быстро проложить квершлаг, чтобы пронзить им Калтанский, — сможет шахта вырваться из глубокого прорыва. Бригаде Богданова и было доверено проложить путь к пласту. Собирая лучших проходчиков со всей шахты, бригадир сказал на первом наряде:

— Каждый день, вырванный у горы, дополнительный топливом обернется.

Его поддержал директор:

— Для этой цели рекорд затеваем. Выручайте, а за нами дело не станет: все, чем располагает шахта, отдадим вашей бригаде.

О том, что рекорд есть, было известно еще шесть дней назад. Тогда начальник участка сделал черновой замер ухода и возбужденно заговорил:

— Ну, мужики, теперь соображай, кому что у директора просить.

Анчишин досадливо махнул рукой:

— Видали? — обратился он к своим товарищам. — Двадцать лет в забое отмантулил, доброго слова не слышал. А тут каких-то несчастных полторы сотни метров прошли, гляди-ко, как в сказке о золотой рыбке — проси, что хочешь.

— Ладно, не выступай, — постарался успокоить Анчишина начальник участка. — Лично я не раз говорил, что проходчики — решающая сила. Все соглашаются, а на деле показать уважение не спешили, пока жареный петух не клюнул.

Богданов оборвал спор:

— Чего воздух попусту сотрясать. Сказал директор, что любую просьбу нашу поддержит, вот и пусть каждый насчет себя соображает. А сейчас за работу, ишь митинг развели!

В бригаде знали, что Богданов уже не первый год подает заявку на «Волгу». Но неизменно из объединения приходил отказ.

— Теперь не открутятся, — подбадривал бригадира Анчишин. — Тебе «Волгу», а мне «Лады» хватит.

Подслушав их разговор, засомневался и Фролов: «А может, ну их к лешему эти люстры, попросить «Урал», пока есть возможности...»

Одному Вальке ничего не надо. Ему просто во всей этой гонке и дележе дефицита интересно одно: каким будет рекорд? Сил-то вон сколько забирает, даже на свидание к Наташке нет времени сбежать. «Вот только рекорд дадим...» — успокаивал себя Валька, совершенно не представляя, что это может изменить в их отношении с Наташкой.

И вот сегодня последняя смена. Богданов перед спуском в шахту сказал:

— Хоть отдохни, мужики, а цикл надо дать!

Никто, конечно, не собирался вытягивать ноги в забое. Но крутились как скипидаром намазанные. Вот только из-за Столярова и вышла минутная заминка. Бурильщики еще не закончили нижний ряд шпуров, а в забое уже горой лежали брезентовые сумки, набитые желтыми, густо пропарафиненными начками аммонита, и Богданов, срывая глотку, чтобы перекрыть рев бурильных молотков, торопит:

— А ну, давай, навались...

А может, совсем и не об этом кричит бригадир, Валька не знает: все утонуло в утробном грохоте перфораторов. Каждый занят своим делом, общая цель которого — взять отпалку, продвинуть забой еще на два метра вперед.

Но чтобы свершилось это, необходимо было произвести еще отпалку, убрать гору породы, поставить пару металлических кругов, забранных сплошь затяжками, пахнущими терпкой смолой.

Валька любил суматошную пору зарядки шпуров аммонитом. Это только по книжке правил безопасности, которую заставляли его штудировать назубок в училище, все было точно выверено и вымеряно, кто чем обязан заниматься. По-писаному выходило: взрывник был святым в забое. Он начинал священнодействовать, а все горняки уходили, чтобы не

мешать ему точно по паспорту заряжать шпур, неторопливо соединять детонаторы в единую цепь, подключая ее к растянутому по выработке магистральному проводу.

Рекордный график поломал все привычные каноны. Взрывник в этой круговерти спора проходчиков с горой становился невольным его участником и должен был подчиниться этому бешеному темпу. Из всего церемониала подготовки забоя к взрыву ему отводилась скромная роль: готовить боевики. И взмокший Илиндеев, тяжело груженный взрывчаткой, машинкой, детонаторами, едва объявился в забое, молча плюхнулся на сухой борт выработки, выхватил из-за пазухи отполированное до блеска, кованное из красной меди толстое шило. Выудил из начки желтоватый, масляно поблескивающий патрон. На согнутом колене короткими скупными ударами аккуратно обстукал конец патрона, чтобы аммонит был мягче, и тут же в торец его вонзил шило. Осталось малое: вставить в образовавшуюся пустоту тонкий гвоздик-детонатор, скользящей петлей накинуть на патрон провода, и боевик — готов.

Илиндеев — словно заводная кукла: трах, бах, шинь! — и очередной боевик, подхваченный проворными руками проходчика, шустрой рыбкой ныряет в узкое отверстие шпура, унося с собой в глубину породы страшную разрушительную силу, которой уже давно научился управлять человек.

— Давай! Давай! Давай! — подгоняют Илиндеева проходчики.

И взрывнику некогда смахнуть пот с лица. Мутноватые капли его выбиваются на лбу из-под каски, тянутся едва приметными дорожками к вискам, срываются с крючковатого носа одна за другой на шуршащий в руках аммонит.

Пока несколько проходчиков заряжают забой, загоняя патроны и глиняные пыжи длинными круглыми палками-трамбовками, другие утаскивают все, что можно унести и защитить от взрыва. Но крепь не снимешь, не унесешь. И Столяров вместе с Анчишиным придирчиво осматривает круги из профильного швеллера и, найдя слабое место, спешит усилить его с помощью прогонистых деревян-

ных клиньев. И здесь Столяров просто заменим. Почти двухметрового роста, он машет кувалдой, словно легким молоточком. Клинья после каждого удара со звонким чмоком садятся намертво. И там, где Анчишин со Столяровым укрепили круги, скорей металл не выдержит, нежели подведут клинья.

Соединять в цепь заряженный забой Богданов не доверяет даже взрывнику. Как только тот изготавливает последний боевик, бригадир командует:

— Быстро магистраль, остальным — назад!

Илиндева словно пружина подкидывает с борта. Затолкав в просторную сумку коробку с детонаторами, он хватается за рогатые мотвила, на которые витками намотан магистральный провод. Накинув свободные концы на первый круг крепления, быстро тянет магистраль в глубь выработки.

В забое стало тихо. Лишь сипел где-то в шлангах воздух да булькал в приемках, наполненных водой, газ из далекого еще угольного пласта. Богданов узловатыми от тяжелой работы пальцами быстро плел паутину электроцепи, собирая круг за кругом, в единую линию. Присоединив выходные провода к основной магистрали, еще раз окинул взглядом забой, удовлетворенно отметил:

— Все в порядке...

В следующее мгновение он уже во весь опор летел в темноту выработки. Увидев Илиндева, спрятавшегося за погрузочной машиной, плюхнулся рядом и, задыхаясь от бега, выдавил:

— Давай!

Илиндеев сунул в щербатый рот жестяную свистулку, и тревожная трель звонким грохотом раскатилась по выработке. Валька, сидя рядом с Анчишиным, вдавил голову в плечи. Столяров перематывал портянку, чертыхался:

— Сбилась, проклятая, только сейчас сообразил, в чем дело.

Матюшин развернул шуршащую газету, в которой были шмат сала и краюшка хлеба. Без всякого аппетита лениво куснул то и другое:

— Обрыдло. Сколько работаю, все хлеб да сало.

— Возьми колбасы, — посоветовал Валька. Матюшин хмыкнул:

— А сало кто есть будет?

— Так ведь сам говоришь — надоело.

— Мало ли чего я говорю.

— Сыто дюже жить стали, — вклинился в разговор Анчишин. — Забыли, как хлеб по карточкам получали...

— При чем здесь карточки? — нахохлился Валька. — Это когда было. И сколько можно ими попрекать?

— Попрекать негоже, — согласился Анчишин. — А помнить всегда надобно. А то нынче что-то много критиканов поразвелось: все им угодить не могут. А глянь в столовке: горы хлеба в отходы идут. Привыкли все тянуть, требовать, а у государства не бездонный карман.

— Ты за Советскую власть не агитируй, сами знаем что к чему, — перебил Анчишина Фролов. — Ежели призовет, постоянно за нее.

— Вот завелись, — недоумевал Матюшин. — Слово сказал, чуть во враги народа не записали...

Он хотел сказать еще о том, что сала этого у него на чердаке чуть не центр: может любому дать, не жалко. Но не успел. В забое ухнуло, и волна тепловатого, спрессованного воздуха больно хлестнула по лицу, пошибала инертную пыль с крепления, помчалась к стволу. Проходчики дружно зазевали широко раскрытыми ртами, как спнулы караси. Этими протяжными зевками удавалось снять боль в ушах. У Вальки в заложенных наглухо, будто ватными пробками, ушах что-то щелкнуло, и первое, что он разобрал, были слова Богданова:

— А ну навались, мужики, лясы на-гора поточим.

Так и не успев поест, Матюшин торопливо завернул остатки хлеба и сала в газету. Столяров подхватил с борта кайлушку, поманил за собой Анчишина:

— Пойдем, обберем кровлю, чтобы кого в суматохе не хряпнуло.

Пропуская мимо себя Столярова и Анчишина, Богданов скомандовал:

— Валька, на кабель! Остальным — вагоны катать!

В кругу других работ таскание кабеля за машиной во время погрузки породы не самая

пыльная, а на первый взгляд может показаться обидной. В то время как другие заняты серьезным делом: катают груженные вагоны, подают порожняк, таскают лес для крепи, Валька похож на собачонку, посаженную на цепь. Он носится следом за машиной взад-вперед, держа в руках толстый кабель. Но только Вальке и доверяет Богданов оберегать кабель, как самому резвому в бригаде. И не дай бог зевнуть ненароком, уронить его под колеса машины. Прощай работа. Но не это даже самое страшное. А вдруг в забое газ? Тогда короткое замыкание кабеля — словно детонатор для аммонита: вынесет взрывом из него подчистую, косточек не соберут. По этой причине обязанность следить за кабелем возлагалась на самых молодых, проворных. А Валька в этом доверии видел и еще одно преимущество. Именно от кабеля легче всего было попасть за рычаги машины. Любая поломка — он рядом с Богдановым. А когда бригадир край как надо что-либо сделать в момент погрузки, доверяет машину только помощнику:

— А ну, давай!

И тогда Валька чувствует себя хозяином положения. Поигрывая рычагами, направляет он ковш на гору породы и с ходу бросает машину вперед. Подвывая мотором, пробуксовывая от натуги, машина начинает трястись мелкой дрожью. Якорные цепи жалобно позванивают от натуги. Валька каждой клеточкой тела чувствует, какое напряжение прокатывается по всему металлу машины. Но вот дрогнул в глубине породы ковш и, сверкнув отполированными до блеска клыками, запрокинулся на конвейер. С глухим стуком тяжелые глыбы породы падают в пустой вагон.

Сегодня Валька не рассчитывал на удачу: такая запарка, что бригадир сам рвет и мечет, нисколько не жалея тормозные ленты на барабанах лебедки. Валька едва успевает перебрасывать кабель. И вдруг, дернувшись, машина остановилась. Из пыльного облака выплыла белесоватая фигура бригадира. Был он похож на мельника: брови припудрены мелким штыбом.

— Забыл совсем, — смущенно протянул он

и кивнул на рычаги. — Дочищай забой, а я на телефон смотаюсь...

Вальку два раза просить не надо. Глянув на проходчиков, лопатами ровняющих падающую в вагон породу, скомандовал:

— Матюшкин, на кабель!

И уже не оглядываясь, обхватив теплые от богдановских рук рычаги, вперился взглядом прищуренных глаз в породу, выискивая в ее ворохе самое слабое, податливое место. На гребне этого вороха, часто перебирая ногами, топтались бурильщики. Перфораторы плевались сжатым воздухом. Их рокот и утробный гул мощного двигателя машины, смешанный с лязгом цепей, ударами ковша о перекладину, сливались в общий грохот, по которому опытный горняк определит: все идет отлично.

Богданов резвой трусдой поспешил на соприращение, где был установлен телефон. Хлюпая сапожищами по черным маслянистым лужам, он корил себя: «О дружке-приятеле забыл в суете. Вот до чего работа довела».

Навстречу ему плыло несколько снопов яркого света. Богданов догадался: начальство. Впереди шел начальник участка, чуть поотстав от него — главный инженер шахты и директор. Начальник участка удивленно остановился:

— Случилось что, Богданов?

— Все нормально, — успокоил бригадир.

— Тогда пойдем рекорд мерить.

— Вы идите, я мигом.

— Ну смотри, чтобы обиды потом не было.

— А у меня там Анчишин, он смухлевать не даст! — уже на ходу крикнул вслед начальству Богданов.

Вот и телефон. Прижал поплотней к уху холодную трубку.

— Девушка, Богданов говорит из скоростного забоя, — и проведя языком по пересохшим от бега губам, хрипло выдавил:

— Слышь, ты меня с главным врачом роддома соедини.

В трубке раздался легкий смехок, и телефонистка спросила:

— Что, рекорд принять некому?

— Ты кончай острить, — недовольно поджал губы Богданов. — Ей серьезно говорят, а она — шуточки...

— Гляди-ка,— не унималась трубка игровым голосом.— Не успели со славой на-гора выехать, а гонору — не подступишься.

— Ладно, ладно,— постарался смягчить тон бригадир.— Дело у меня там срочное.

— Соединяю...

Как ни торопились Богданов в забой, но все же не успел к замеру. Сначала ему навстречу пролетел на трезвонящем электровозе с длинным составом груженных вагонов Фролов, а следом в квершлаг стало светло. Проходчики, окружив начальство, шли на-гора. И Валька, увидев бригадира, пулей к нему.

— Сто семьдесят метров, как одна копейка!

Директор шахты протянул Богданову пухловатую ладонь:

— Поздравляю, еще два месяца такой работы, и Калтанский будет вскрыт.

— Постараемся,— ответил тот и взглядом поискал Столярова.

Увидев приятеля, улыбнулся:

— Ну, Никита, ставь горилку.

— Это с тебя за рекорд причитается,— отшутился Столяров.

— А у тебя сын родился!

— Точно?!— боялся поверить Столяров.— Ежели врешь — зашибу!

— Только что звонил в роддом, богатыря принесла тебе Настя: четыре кило тянет!

— А я что говорил?— сверкнул улыбкой Столяров, и сделав из своих толстых пальцев неуклюжую козу, кинулся на Богданова.— А ты что давеча говорил: девка будет...

— Ладно, ладно,— отмахнулся Богданов.— Не бросайся обниматься, кости поломаешь.

Так, весело переговариваясь, проходчики кучно шли по квершлагу. И только Потемкин тянулся сзади всех. И это не ускользнуло от Богданова: «Совсем скис мужик. Такому своя собственная радость поперек горла, а уж чужая — обида кровная».

Столяров, хлопнув Матюшина по плечу, спросил:

— Как думаешь, если я его в честь деда Семеном назову. Семен Никитич, звучит?

— А чего, хорошее русское имя,— согласно кивнул головой Матюшин.— Не забудь на крестины позвать.

— Какой разговор, всей бригадой такое событие отметим.

Гурьбой они и выехали на-гора, где во всю полыхало солнце и было душно, словно перед дождем. Едва распахнулась дверь клетки, как к ней метнулась стройная девчонка с букетом белых гладиолусов в руках.

— Наташка!— удивленно крикнул Столяров.

Вся зардевшаяся, Наташка протянула отцу букет:

— Поздравляю, у нас есть братишка!

И тут она увидела Валентина.

— И ты здесь?— удивленно протянула она.

Столяров недоумевающе посмотрел на Наташку, потом перевел взгляд на Вальку.

— Ты что, знаешь его?— спросил он у дочери.

И та, пряча глаза, протянула:

— Познакомься, папа. Это — Валентин.

— Знаю, что не Кузьма,— погрозил он дочери и, вдруг прищурившись, спросил у Вальки.— Так это ты с нею был, когда на наряд опоздал?

Валька кивнул головой.

— Вот старый пенек,— чертыхнулся Столяров.— А я к тебе еще в тесте набивался.

И, протягивая обратно цветы Наташке, сказал:

— Подожди-ка нас...

Потом положил свою широкую ладонь на плечо Вальки.

— Ну что ж, сынок, пойдем в мойку.

Они шагали к ламповой, а Наташка, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрела им вслед и тревожно прислушивалась к тому, как в груди сердце гулко отстукивало: тук, тук, тук...



Виктор Чугунов

ДАШЕНЬКА

РАССКАЗ

На перевале свистел ветер, сдувая снег, а рядом, в пихтовом распадке, было ясно и тихо. Январское солнце высвечивало глянец огородов. Северный уклон распадка поднимался в побелевший край неба; оттуда просекой тянулась высоковольтная линия, бросая на снег четкие тени. По низу распадка стояли домишки, клуб, школа. С их крыш падала капель, наполняя воздух пресным запахом подмокших завалин.

Я приехал сюда, чтобы прочитать лекцию о международном положении, и стоял на крыльце клуба. Был полдень. Солнце смотрело в глаза, согревая меня; не хотелось верить, что час назад я был на перевале, мерз, ожидая, пока шофер сменит колесо.

Поселковая женщина, лицом белая, щекастая, одетая по-городскому — в пальто с чернобуркой, в мохеровом платке и сапожках, поднялась скользкой тропой к клубу и остановилась против крыльца.

— Здравствуйте, — поклонилась она гордым и красивым поклоном.

— Здравствуйте, — ответил я.

— Не знаю, давечь девки болтали — представление будет... Думаю: пойду, посмотрю... — Лекция.

— Хоть лекция, хоть что — все равно представление. Не кино же, нет? — Женщина возвела на меня глаза и долго любопытно смотрела. От ее взгляда мне стало неловко. — Если б кино, — продолжала она певуче и многословно, — за мной давно начальник наш

прибежал... Гошка-то, киношник, на другой неделе обе ноги поломал — в больнице лежит, а больше, кроме меня, никто заводить кино не умеет...

Покачав головой и вздохнув, она вытерла пальцем нижнюю оттопыренную губу.

— Пойду, надо еще в контору зайти... Давечь бригадир бурильщиков приходил, «стенолазу» выпрашивал. Чего это он без работы шляется, интересно? — И отойдя несколько шагов, обернулась: — А вы заслуженный лектор-то или как?

Я сконфуженно улыбнулся. Женщина понимающе кивнула и скатилась с бугра на сапожках, окликнула проходящего мужика и пошла с ним рядом.

Вечером я читал лекцию.

В зале, выбеленном, с неоновыми светильниками, но с волглым щелястым полом, собрался весь поселок. Задние лузгали орехи, сидя на возвышении под глазками кинобудки. Передние, больше женщины и девушки, болтали. Среди них сидела моя знакомая, опустив на плечи мохеровый платок. У нее было такое выражение на лице, будто она умилялась: и откуда я беру слова, и почему эти слова гладко и ровно прикладываются друг к другу.

Когда лекция кончилась, женщина спросила:

— Вот, говорят, у капиталистов бабы прав не имеют. А у сионистов этих, как вы сказали, у них заправляет баба...

В зале попрыгал смехок.

— Чего загомонили? Чего? — обернулась женщина. — Бестолочи и есть бестолочи... Товарищ лектор просит задавать вопросы, и я задаю... — Она снова посмотрела на меня. — Как мне в этом разобраться?

И снова смех, но я терпеливо разъяснил. Женщина выслушала стоя и поклонилась мне, во многих словах выражая благодарность, и снова спросила:

— А вы фокусы показывать будете? Жалко: с фокусами оно как-то лучше...

«Чокнутая», — подумал я, глядя на женщину почти ненавистно, и еще раз попросил задавать вопросы по существу.

— У нас больше вопросов нету, — крикнул парень с заднего ряда. — У нас по вопросам Дашка. Раз села, значит все: к другому делу переходи.

Мы с шофером для «другого дела» возили баян. Пока убирали лавки, освобождая место для танцев, женщина протиснулась ко мне.

— Дашей меня зовут, — она поправила на плечах платок. — Дашенькой. Вы уж, пожалте, с вальсу начинайте... Не это ваше дыр-дыр...

Я взял инструмент и заиграл вальс.

— И говорит, и на гармошке играет, — зашептались бабы. — Из города просто так кого не пришлют. Прошлый раз тоже один приезжал, все про политику рассказывал, а потом как начал фокусы показывать — животы надорвали...

Осторожно, с оглядкой, потянулись в круг девчата. Вышли два парня, щеголеватые, в расклешенных брюках, и стали отбивать чечетку. Следом за ними Даша вывела из задних рядов мужчину лет тридцати пяти с большим лбом и кудрявой головой. Лицо Даши преобразилось от радости и напряжения, только глаза в оплывших глазницах светились хитро и бойко; они были зеленовато-белесыми, ее глаза, приплюснутые, с крупными устойчивыми светлячками.

— Ты послушай, как он играет, — громко произнесла она. — Да это не музыка вовсе, а барабанный бой...

— Самоучка, — поддакнул ей мужчина и скользнул по мне взглядом. — Гармонии не знает...

— Может, ты сам сыграешь, Петр Васильевич?

Я, конечно, все слышал.

Слышали и другие. На сердце у меня потяжелело от насмешливых взглядов.

— Разве это «На сопках Маньчжурии»? — продолжала Даша. — Это огуречный кисель с хреном... Нет, Петр Васильевич, ты возьми у него баян, покажи, как надо играть...

Я даже покраснел и отвел глаза, будто был виноват.

— Они там, в городе-то, думают: сюда любого присылать можно, — продолжала женщина, не обращая на меня внимания. — Будто мы тут и музыку сроду не слышали... А инструмент у него какой? Ты посмотри на его инструмент, Петр Васильевич...

У меня выступил пот, и я начал сбиваться больше обыкновенного. Даша махнула рукой: мол, какие это танцы? И отошла в сторону. Ее обступили женщины, стали шептаться, косы на меня глаза. Тут прорвался в зал подвыпивший мужичок в москвичке и валенках, трех набекрень, губы черные, в морщинах. Мужичок растолкал женщин и запел похабную частушку, визгливо и громко, притопывая валенком.

Его бросились выталкивать, но мужичок расперся в дверях и продолжал ругаться. К нему подошла Даша.

— Ты, недотепа, чего пьяный приперся?

— Гады вы, змеи, — шипел беспамятно мужичок, бродя по лицам людей очумелыми глазами. — Я вас всех на бифштекс пушу...

Я заиграл фокстрот, пытаюсь заглушить брань. Ко мне подошла Даша и сжала меха баяна.

— Отдохни малость, молодой человек... И так запарился. Давечь всю мировую историю пересказал, а сейчас еще и гармонию балуешь. Присядь чуток, послушай, что я расскажу... Как Семен Иванович от медведя бежал...

В одно мгновение в зале наступил порядок. Все расселись, замолчали. Сел и мужичок в треухе, продолжая бродить глазами.

— Это, значит, так все... — Даша облизнула губы и встала на сцене, выдвинув красивую ногу в сапожке. — Ты на меня, Семен

Иванович, не смотри бесом, я не боюсь... Ясное дело, расскажу, пусть народ посмеется...

Она поправила на плечах мохеровый платок. Ее лицо приобрело черствое выражение, но глаза плескались изумительными, глубокими и радужными всплесками.

Я сел на придвинутый мне стул и подумал сквозь обиду и неловкость, что Даша, несомненно, красивая и приятная женщина.

— Поехали мы за движком в прошлом году, я и Семен Иваныч, — начала Даша. — Поехали, явственно, на тракторе. Едем, это, дорога глухая, Семен мне и говорит: «Кого ты, допустим, в тайге боишься, Дашка?» Я отвечаю: «Да мало ли кого, Семен Иваныч, можно в тайге испугаться женщине... И тебя боюсь...» — «Это ты правильно, — Семен-то Иваныч. — Я парень ловкий. Однажды вот так же едем, с бабенкой то есть. Я ей и говорю: от меня ты седня не уйдешь, хоть имай, хоть не имай. И не ушла. Ну, а, допустим, как ты по части медведей, боишься или не боишься?»

По залу порхнул смехок. Я огляделся, ничего не понимая.

— Ну, отвечаю, Семен Иваныч, — продолжала Даша, — тебя еще ничего, а медведя совсем боюсь. «Тоже правильно, — говорит. — Медведя стоит бояться, он строгий. Хотя со мной, Дашка, можешь быть спокойной: в обиду не дам. Я этих медведей за свою жизнь повидал больше, чем ты собак...»

Я посмотрел на Семена Иваныча: он сидел лютый, зубы в оскале.

— Ну, конечно, говорю, — продолжала Даша, — за твоей спиной, Семен Иваныч, я как в крепости. «Правильно, — говорит, — Дашка, хоть имай, хоть не имай. Я медведей на колоду беру, потому как знаю их натуру, можно сказать, основательно. Значит так, допустим, прознал я — объявился медведь, беру колоду и иду. Ставлю капкан, к колоде его цепляю и жду. Медведь в капкан имается, бежит, а колода за ним. Мишка хватает и к обрыву. Хвать ее вниз — и сам за ней, а я, значит, подхожу и беру...»

По залу снова прокатился смехок.

— Ну, думаю, чего мне с таким ловкачом бояться? — не умолкала Даша, успокаивая

слушателей поднятой рукой. — Назад едем, останавливаемся закусить. Только устроились, вот он тебе, хозяин из кустов, ры-ры-ры... Так-то Семен Иванович смелый, без дела, а тут.. хлебом в медведя, а сам к трактору. Медведь за ним. Семен Иванович полный газ да драпака. Медведь — на трактор. Семен с перепугу в речку на полном ходу и посередине застрял. Кабина торчит, медведь на кабине, и Семен Иванович по грудь в воде.

В зале разразились хохотом: должно быть, знали подробности.

Семен Иванович выпрямился у дверей, ту же натянул шапку. Люди смеялись, не обращая на него внимания. Я перевел взгляд на кудрявого мужчину, с которым танцевала Даша: он глядел на сцену не просто добрыми и счастливыми глазами, он смотрел с восхищением.

— Но главное наступило после этого, — Даша приятно и смело улыбнулась. — Ушел медведь... Кричу Семену Иванычу: вылезь! Не вылезит. Думаю: может, утоп, в кабине вода. Добираюсь к трактору, смотрю: живой Семен. Я дверку открывать, а он: «Не открывайте! Миленькие, родименькие. Я единственный у мамки сын...»

В зале от смеху закашляли, а Семен Иванович побурел маленьким заросшим лицом и постучал кулаком по косяку.

— Ну, берегись, падло... Попила ты моей кровушки...

И побежал из зала ругаясь.

— Приди еще, приди пьяным, я не то расскажу, — крикнула Даша вдогонку и едва улыбнулась, будто ей было стыдно за последние слова. Она сошла со сцены и махнула рукой в сторону двери: дурак, мол, он и есть дурак... Люди закричали:

— Вальс ей... Вальс Дашеньке...

Снова начались танцы. Даша кружилась с кудрявым мужчиной. У нее раскраснелись щеки. Она урывками поглядывала на меня, точно хотела спросить: «Ну, как я? Ничего?»

Совсем поздно, перед концом, ее попросили спеть. И Даша спела:

И с дареной пи-икой да
с дареной са-аблей
Мимо всей станицы
провожу тебя.

И пела она удивительно — легко и просто. Люди подпевали ей, а я играю, может быть, впервые с такой выразительностью, с какой не играл никогда.

Ночевать меня определили к той же Даше.

— Ко мне, а к кому же еще, — говорила она после, угощая меня чаем с домашними булками. — У меня все приезжие останавливаются. — Даша сидела напротив и тоже пила чай. Она была в пестром домашнем халатике с белым воротником, пила чай из широкой синей пиалы, разговаривая обыденно, запросто: — Вы на меня не обижайтесь, что я давеча о вас говорила. Это я так, пошутить...

Она посмотрела на меня с прищуром и стала рассказывать о поселке.

— Мы тут все друг к другу привыкли... Так что смеемся, как умеем. Хозяйство у нас маленькое. Геологическая партия. Железо ищем. Вам это не интересно? Да, вот ищем. Правда, не очень удачно... Нашли железо, а оно тощее и мало — на один рудник не хватит: пятьдесят семь миллионов... Подсчитали: на двадцать лет...

Я любопытствовал:

— Какая у вас специальность, Даша?

— Какая специальность? — переспросила она, качнув бровями. — Как вам сказать? На все руки от скуки. А вообще числюсь при здравпункте, обычно фельдшера нет, я за фельдшера. — Она пододвинула мне стакан с вареньем. — Ну, а так... И книги в библиотеке раздают, и художественной самодельностью занимаюсь, и кино кручу. За парикмахера у них, за портниху. Тут недавно начальник партии пришел, говорит: «Шапку шей». Шапку сшила. Ну, что еще? Вот и гостиница у меня. Другой раз на машине езжу, на тракторе...

Она засмеялась, опуская глаза. Я обратил внимание, что у ней белые гладкие руки, молодые: Даша не стеснялась их показывать. Подлив мне чаю, она продолжала:

— Сейчас одним делом не проживешь... Вот на вас смотрю: в городе, небось, инженер какой. Может, строитель, может, уголь добываете, а к нам приехали — лекцию, пожалуйста, музыку... А там, глядишь, и стихи сочиняете, по глазам чувствую... Или еще что... Мне ваша нагура понятная...

Щурясь, она подула на пиалу с чаем и несколько минут молчала. В комнате стучали ходики, с комода смотрела фарфоровая кошка. На окнах голубели занавески. У кровати на выпуклой стене два портрета — Ильф и Петров. Я задержал на них взгляд, и Даша объяснила:

— От отца остались... Погиб на фронте.

Она торопливо отпила чаю, и я переменял разговор:

— Даша, вы не боитесь того, маленького, который ругался в клубе?

— Семена Ивановича? — переспросила она, подняв глаза. — Чего ж его бояться?

Она помолчала.

— Не боюсь. Он на меня и с ружьем ходил — отбирала ружье, и с ножом... Отступит, ему меня не одолеть. И люди на моей стороне...

В эту ночь, засыпая, я видел перед собой здорового мужика, подступающего с угрозами то ко мне, то к Даше, но странно, он совсем не казался страшным: Даша подошла к нему и вырвала из его рук ружье.

Пробудился я скоро. В кутке за печкой горела свеча. В комнате застыл полумрак. Было холодно: мое одеяло проволгло. Я натянул свитер, снова лег и услышал тихие голоса, мужской и женский.

— Я боюсь, Дашенька...

— Ну, вот ты, Петр Васильевич...

— Семен грозился...

— Я таких Семенов видела...

— Опять ты за свое... — мужской голос прервался, и долго ничего не было слышно. Потом снова заговорил мужчина. — Возьмет и приберет... Что с него спросишь?

— Чудак ты...

— Пусть чудак, но я беспокоюсь за тебя...

— Нашел о ком беспокоиться... Я здесь — как рыба в воде...

— И я не новичок, знаю...

— Ну, до меня тебе далеко...

В дверь громко постучали. Я услышала Дашин шепот:

— Петр Васильевич, очень тебя прошу... Я выйду одна...

Когда в сенях закришел запор, я не выдержал и встал с кровати, — наверно, пришел

Семен. Кудрявый мужчина сидел у печки, зажав голову руками. Он поднял на меня глаза и долго смотрел, не понимая. Мне стало жутко от его взгляда. Тут же мужчина подбежал к окну и стал смотреть на улицу сквозь щель в ставне.

Все обошлось хорошо. Дашенька скоро вернулась и, подталкивая меня в плечи, зашептала:

— Ложитесь, ложитесь... Чего поднялись. Укол пойду поставлю. Девочка соседская прибежала, с матерью у ней плохо. Пойду управлюсь...

...Утром Дашенька проводила меня на перевал. Мы шли на лыжах, молчали. Увидев

ожидающую меня машину, Даша остановилась, протянула руку.

— Приезжайте еще... Мы будем ждать...

Сама расстегнула крепления моих лыж, неловко помахала рукой и понеслась с горы по нетронутому снегу вдоль электрических столбов, оставляя за собой след.

День начинался ясный. Даже на перевале было тихо. Я стоял и следил за удаляющейся лыжницей, думая тревожно и радостно, что вот такая женщина и нужна мне была все время. Я бы ценил ее всего дороже и всего дороже любил.

1972 г.

О РАССКАЗЕ «ДАШЕНЬКА»

Вот и еще один рассказ Виктора Чугунова приходит сегодня к читателю. Еще один... Когда в декабре 1973 года талантливый прозаик погиб в автомобильной катастрофе, в его рабочем столе осталось немало завершенных и незавершенных рукописей — рассказы, повести, роман... Многие из этих произведений, к счастью, уже увидели свет.

Читая книги В. Чугунова или знакомясь с материалами его архива, всегда поражаешься тому, сколь точно, никогда не поддаваясь литературным и иным схемам, пишет автор жизнь. Жизнь была для него и главным учебником, и главным судьей. Вот почему Чугунов до конца дней своих совмещал занятия литературой с работой горного инженера. Вот почему почти в любом его произведении мы, как правило, легко обнаружим приметы реальных событий.

Не так давно в Междуреченске, родном городе Чугунова, я опять встречался со многими его друзьями. В числе прочих записал и рассказ профсоюзного работника Е. В. Лобковой. Елена Васильевна вспомнила о том, как вместе с Чугуновым ездили в начале семидесятых годов в один из геологических поселков. В их группе были лекторы (в том числе и лектор-международник), медицинские, аптечные работники и он, писатель.

В этих воспоминаниях характер Виктора Чугунова выявляется достаточно четко. Конечно же, он очень скоро стал центром маленькой бригады; шутил, подбадривал товарищей, когда их машина застряла на горном перевале. Потом, выступая в клубе, много рассказывал о литературе, о своих коллегах писателях Кузбасса. На вопросы о собственном творчестве отвечал коротко: «Я еще только начинаю...» Хотя уже был членом Союза писателей. Потом в клубе показывали кино. После кино Чугунов узнал, что здесь давным-давно из-за отсутствия музыки не было танцев. И он раздобыл где-то баян. Играл ко всеобщей радости до полуночи.

Легко догадаться, что впечатления от этой поездки легли в основу рассказа «Дашенька». Хотя жизненная канва далеко не во всем совпадает с рассказом. Прочитав его, сразу заметишь: как бы ни были интересны перипетии новеллы, особое очарование ей придает живой голос автора. Этот внимательный взгляд рассказчика наполняет все происходящее каким-то новым сокровенным смыслом...

Е. ЦЕИТЛИН



Михаил Сорокин

НА ТОМИ-РЕКЕ

*„Он встал в неоглядной затерянной шири
Надежным щитом на востоке Сибири,
Как воин бестрепетный в шлеме и латах,
Он встал, все пути преградив супостатам“.*

(Назимир Лисовский)

Окончательный разгром Кучума в районе средней Оби, у реки Ирмень, строительство Тюмени, Тобольска, Сургута и других русских городов, прекращение вековых усобиц между сибирскими племенами — все это произвело сильное впечатление на местных владык. Большинство из них сумело правильно оценить ситуацию, увидеть в России силу, способную защитить их племена от бесконечных вторжений кочевников со стороны южных степей Сибири (Хакасии, степного Алтая, Заиртышья). И потянулись в «первопрестольную» новоявленные дипломаты...

В самом начале XVII века с низовьев Томи в Москву прибыл владыка местных племен князь Тоян. Он просил Бориса Годунова взять его на государеву службу, обещал служить честно. Опасаясь мести со стороны кочевников, Тоян умолял русское правительство срубить в его земле крепость, снабдить ее пушками и «всем снарядам», ввести туда сильный гарнизон.

Очевидно, тогда же от Тояна были получены первые сведения о бассейне реки Томи, о его обитателях и природных богатствах. Вскоре по приказу царя Бориса тюменские, тобольские, сургутские служилые люди сруби-

ли в низовьях реки первый русский город на Томи — Томск.

Щедрая, полноводная, рыбная река, удобная транспортная артерия, соединяющая богатейшую долину и кузнецкие предгорья, дала свое имя еще одному русскому поселению в среднем своем течении — Верхотомскому острогу.

И потянулись в томские вершины, за яском, отряды служилых людей. Долог и многотруден был этот путь в верховья быстрой красавицы реки. Прошло не так уж и много времени, как в томских вершинах выросла еще одна русская крепость — Кузнецк.

Сохранился любопытный документ об основании Кузнецка — челобитная казака Федора Борисова и его товарищей царю Михаилу Романову. В нем говорилось: «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси быют челом холопи твои Томского города пешие казаки Федька Борисов, да Данилка Анисимов, да Сенька Ядринский, да Митька Згибнев, да Васька Казаков и за всех своих товарищей вместо 45 человек. Посылали нас, холопий своих, на твою царскую службу в кузнецы с сыном боярским с Остафьем с Харламовым, а велено нам, холопам твоим,

на усть Кондобы в кузнецкой земле острог поставить. И мы, холопы твои, пошли из Томского города поздно и до усть Кондобы, государь, не дошли и зазимовали в Тюлюберской волости. И в Тюлюберскую, государь, волость пришли к нам из Томского города татарский голова Осип Кокарев, да казачий голова Молчан Лавров, а с ними пришли на лыжах конные казаки. Из Тюлюберской волости... пришли на усть Кондобы реки и острог поставили и крепи учинили и кузнецких людей под твою царскую высокую руку привели и иные земли и твой государев ясак с них взяли и привезли в Томский город твоим государевым воеводам».

Небольшая, русская крепость, расположенная далеко на юге, на правом фланге основного колонизационного сибирского потока, Кузнецк сыграл чрезвычайно важную роль в освоении бассейна реки Томи, в изучении природных богатств данного региона, в защите южных рубежей нашей страны.

«Отписки» кузнецких воевод в Москву, «распросные речи» лихих кузнецких казаков и служилых людей, «сказки» бывалых путешественников позволили собрать обширные сведения о численности и занятиях коренного населения Горной Шории, Кузнецкого Алатау и Салаира.

Полученные из Кузнецка сведения были довольно разнообразны. Об их характере убедительно свидетельствует приводимый ниже документ. В 1622 году в столицу с очередным караваном сибирской пушнины прибыли казаки из неведомой кузнецкой земли. Чинovníки Сибирского приказа, центра по управлению территориями восточнее Урала, получили возможность «из первых рук» получить сведения о недавно построенном, новом русском городе в верховьях Томи.

Служилые люди сообщили, что «Кузнецкий острог стоит на Томи-реке, а от Томского города до того острогу езды вверх водою шесть недель, а сухим путем из Кузнецкого острога до Томского города десять ден ходу. А около Кузнецкого острога, и на Кондоме, и на Мрас-реке стоят горы каменные, великие, и в тех горах емлют кузнецкие ясачные люди камень, да то камень разжигают на

дровех и разбивают молотами намелко, а разбив, сеют решеты, а просеяв, сыплют по немногу в горн, и в том сливается всякое железо, и из того железа делают панцири и бехтерцы, шелома, копы, рогатины и сабли и всякое железное, опричь пищалей, и те панцири и бехтерцы продают калмыцким людям на лошади, и на коровы, и на овцы, и иные ясак дают калмыцким людям железом же...

...А кузнецких людей в кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды всякое делать кузнецкое дело... А живут они в горах. А на горах растет всякий лес и тот лес расчищают, пашут пашни, сеют пшеницу, ячмень, коноплю...»

Удивительно емкая, насыщенная самой разнообразной информацией, это типичная «сказка» кузнецких служилых людей. Казаки будто взахлеб торопятся рассказать москвичам об удивительных богатствах этой российской окраины.

Вскоре после основания Кузнецку пришлось стать центром обширного уезда. Случилось это в 1622 году, и надо полагать, было результатом недавно полученной в столице информации. Значение Кузнецка еще более возросло. Однако справедливости ради нужно заметить, что как политический, экономический и культурный центр он не слишком высоко котиrowался среди таких городов, как Тюмень, Тобольск, Томск, Иркутск. В ведомости 1701 года, где перечислялись все уездные центры Сибири, Кузнецк, впрочем как и его собратья Красноярск, Енисейск, Сургут, назван острогом.

Отмечая историческое значение Кузнецка в деле заселения и освоения южных районов Западной Сибири, необходимо особо подчеркнуть его военно-стратегическое значение. На протяжении всего XVII века, да и позднее ему приходилось выполнять роль боевого форпоста на границе Русского государства в Сибири.

Выдвинутый от Томска далеко на юг, он прикрыл часть фланга русской колонизации и обеспечил успешное продвижение на Енисей, Лену и далее на восток. Исключительно велика заслуга Кузнецка в деле защиты населения

Горной Шории, бассейна реки Томи и ее притоков от набегов феодалов из степных районов южной Сибири.⁴

Для внешнего облика Кузнецка был характерен облик города-крепости, города-воина. Большая часть жилых домов теснилась за деревянными крепостными стенами, на сторожевых башнях, напряженно вглядываясь вдаль, день и ночь стояли часовые. Постоянные разъезды и засады обязаны были вовремя предупреждать горожан о приближающейся опасности.

На всем пути от Томска к Кузнецку было поставлено несколько крепостей и острогов. На севере, ближе к Томску, безопасность близлежащих деревень обеспечивал Сосновский острог, на половине пути находился Верхотомский острог, ближе к Кузнецку, в районе нынешнего Крапивинского, стоял Мунгатский острог.

Сохранилось описание Верхотомского острога. Датированное 1706 годом, оно дает возможность представить, как выглядели крепости земли Кузнецкой в ту, далекую от нас пору. Крепостные стены Кузнецка, его башни, вал, рогатки были, конечно, несколько мощнее укреплений Сосновского, Верхотомского и Мунгатского острогов, но в принципе они мало чем отличались от фортификационных сооружений той эпохи.

Определенный интерес представляет и лексикон данного документа: «Верхотомский острог стоячей, деревянной, а по сторонам на нем одна башня. Мерею тот острог в длину 20 сажень, а поперек тож, а в нем огненного наряду: пушка медная, мерею в длину полтора аршина, а весу в ней один пуд с четвертью. А по кружалу та пушка ядром в полфунта, а к ней припасов 20 ядер железных. Другая пушка железная мерею в длину два аршина, а весу в ней 14 пудов, а по кружалу та пушка ядром в полтрети фунта, а к ней припасу 10 ядер железных. Да огненного припасу два пуда семь фунтов пороху, один пуд десять гривенков свинцу, 32 мушкета с замками. А в нем приказчик сын боярский Иван Кинозеров».

Читателю может показаться вооружение Верхотомского острога не слишком солидным.

Все же это было грозное, боевое оружие, которое довольно часто приходилось пускать в ход. Запасы пороха и свинца постоянно таяли, и их приходилось пополнять.

На всем протяжении XVII века бассейн верхнего и среднего течения Томи подвергался постоянным вторжениям кочевников. Местные кузнецкие воеводы посылали в Москву донесения одно тревожнее другого. В августе 1628 года Савва Языков сообщал: «...хотят зажечь город берестами и на поле хлеб толочить и сена жечь, лошади и коровы хотят отгонять».

Обстановка на юге Сибири оставалась довольно сложной. Продвижение русских в районы лесостепи, в верховья Оби и Енисея натолкнулось на встречное наступление со стороны ханов Средней Азии, феодалов степного Алтая, Хакасии и минусинской котловины. Кочевники пытались любой ценой вытеснить русских из бассейна Томи.

Особенно тяжкий, часто просто непоправимый ущерб внезапные набеги конных отрядов приносили сельскому хозяйству. В 1638 году кузнецкие воеводы сообщили в Москву, что в пределы уезда вторглись орды калмыков под командованием князя Коки. Бандиты «кузнецких служилых и всяких чинов людей и подгорных юртовских татар многих побили, и лошадей, и рогатый скот отогнали без остатку... сжатый хлеб пожгли, а несжатый потоптали».

Далеко не все документы того далекого и тяжелого времени дошли до нас. Многие из них погибли в огне пожаров. Народные восстания, стихийные бедствия, неблагоприятные условия хранения, да и само время — эти факторы не способствовали сохранности большинства документов. Но и того, что мы знаем, вполне достаточно, чтобы представить, с каким трудом шел процесс заселения и освоения бассейна реки Томи.

В 1671 году банда Матур-Таши сожгла деревню Ашмаинову. Кочевники полностью уничтожили двенадцать крестьянских хозяйств, вытоптали созревшие на полях хлеба. Многие жители близлежащих вокруг Кузнецка деревень были убиты или угнаны в плен. Ущерб, причиненный набегом калмыков в

1671 году, составил громадную для XVII века сумму — почти две тысячи рублей.

Год спустя кузнецкий воевода Григорий Волков был вынужден известить правительство о том, что вновь в пределах кузнецкого уезда появились шайки бандитов. На этот раз они пришли с верховьев Енисея. Люди князя енисейских киргизов Ереняка жгли русские деревни, убивали крестьян. Воевода сообщил, что «пашенного крестьянина Ларку Осипова да казачьего сына Гараньку Ананьина убили до смерти». Кочевники увели с собой много лошадей и коров, еще больше разбежалось по окрестным горам и лесам. Скот возвращался в родные деревни «после тех воров дня по два и по три спустя».

Даже в начале XVIII века, когда обстановка в Сибири существенно изменилась и положение русских стало более устойчивым, Кузнецкий уезд продолжал подвергаться неожиданным набегам со стороны кочевников.

В октябре 1700 года орды киргизских князей Иркина и Ереняка, усиленные вспомогательным отрядом калмыцкого контайши, вновь появились в пределах кузнецкого уезда.

«И пришед под Кузнецк,—сообщал в Москву местный воевода,—на полях людей побили и конные табуны и рогатый скот отогнали... белых подгородних калмыков с женами и детьми многих побили и в полон побрали и конские их табуны и рогатый скот без остатку весь взяли, монастырь и многие деревни по одну сторону Томи реки и хлеб, который был в кладях, пожгли, а который был не сжат, потоптали и потравили».

Набег енисейских киргизов 1700 года нанес тяжкий удар по хозяйству русских крестьян кузнецкого уезда. Кочевники сожгли 20 крестьянских дворов «со всяким заводом», в амбарах было уничтожено 560 четвертей хлеба, «да на полях,—добавляет автор документа,—сжатой и несжатой хлеб выжгли без остатку».

Особенно сильно пострадало на этот раз коренное население Кузнецкого уезда. У них бандиты угнали 577 лошадей, 122 головы крупного рогатого скота, были сожжены многие шорские улусы, а 97 человек угнано в плен. Потрясающим был общий ущерб от

набега — более десяти тысяч рублей. Чтобы читателю был более понятен размер ущерба, замечу, что годовое жалование (не месячное, а годовое) у служилого человека в Сибири, пешего или конного казака, колебалось в пределах от 3 до 5 рублей, стоимость лошади — от 1 до 2 рублей и т. д.

Даже в 1709 году, когда была заложена новая русская крепость Бикатунская и, казалось, положение Кузнецкого уезда должно было улучшиться, калмыкам князя Бадая вновь удался очередной набег. Кочевники нагрянули в самую уборку урожая, когда большинство жителей уезда были заняты на своих полях. Застигнутые врасплох, многие крестьяне попали в плен. В схватках с бандитами погибло четверо служилых людей, семеро ранено. Бадаю удалось сжечь несколько русских деревень, расположенных неподалеку от города Кузнецка,—Бунгурскую, Калачеву, Шерепскую.

В следующем году Кузнецкий уезд вновь подвергся вторжению кочевников. На этот раз в его пределы ворвалась четырехтысячная орда белых и черных калмыков под предводительством князя Духары. Захватчики побили много людей, сожгли восемь русских деревень, угнали с собой богатый полон (почти триста лошадей, более восьмисот голов крупного рогатого скота, тысячу овец). И опять убытки от этого набега оценивались в почти десять тысяч рублей.

Довольно утомительное перечисление вторжений, набегов кочевников убедительно показывает, в каких невероятно сложных условиях происходило заселение и хозяйственное освоение бассейна среднего и верхнего течения реки Томи и вообще территории Кузнецкого уезда.

На всем протяжении XVII века и даже в начале XVIII века его жителю приходилось быть не только пахарем, но и воином, даже скорее наоборот — сначала воином, а потом пахарем. Нередко крестьянин перед выходом в поле был вынужден надевать тяжелую, стесняющую движения кольчугу.

В любой момент откуда-нибудь, из-за дерева или куста, могла просвистеть смертоносная стрела кочевника, словно с неба сва-

литься колючая петля калмыцкого аркана. Топор или боевая секира были неразлучными спутниками землепашца. Жителю кузнецкой котловины в то суровое время приходилось жить в постоянной тревоге, быть всегда на чеку. Любой набег степняков грозил ему пленом, долгими годами жестокого рабства.

Постоянные вторжения кочевников на территорию кузнецкого уезда были в XVII веке далеко не единственным препятствием для заселения бассейна реки Томи. Первым поселенцам в этом районе пришлось преодолеть множество трудностей. Одна из них — нехватка женского населения. Успешное существование крестьянского двора находилось в прямой зависимости от количества рабочих рук. Для того чтобы растить хлеб, разводить скот, содержать в порядке дом, нужна была большая, дружная семья. Дел хватало и взрослым, и детям.

Мужчины выполняли самые сложные, тяжелые работы — пахали землю, валили лес, строили, косили и метали сено, возили тяжелые грузы. В постоянных заботах о доме, о семье, о детях проходила жизнь женщины. Она пекла хлеб и готовила пищу, воспитывала детей, следила за домом, работала в огороде и в поле, пряла и ткала холсты, шила одежду... Да разве можно перечислить все бесконечные заботы женщины! «Без хозяйки и дом сирота», — уверенно утверждали в народе.

Девочка-подросток была отличной помощницей матери, мальчишки с раннего детства усваивали все премудрости ведения крестьянского хозяйства у отца. Даже самым маленьким ребятишкам хватало забот. Они помогали в работе взрослым, ходили за телятами и ягнятами, ухаживали за птицей, собирали ягоды и грибы, выполняли посильную работу в доме, во время сева, на покосе, на жатве.

Словом, для того чтобы успешно справиться со сложным комплексом сельскохозяйственных работ, создать сколько-нибудь крепкое хозяйство, крестьянину как воздух была необходима полноценная, работоспособная, многочисленная семья.

Создать же ее в условиях того времени, в таком районе, как Кузнецкий, было совсем непросто. Правительство направляло в Куз-

нецк, в села и деревни уезда в ссылку на пашню десятки и даже сотни участников многочисленных народных движений, борцов против феодально-крепостнического угнетения. Как правило, были они людьми одиночками.

Как предотвратить побег? Как добиться, чтобы поселенцы прочно осели на кузнецкой земле, обросли хозяйством, забыли свои родные места, куда их неудержимо влекло каждой весной?

Самый верный способ — женить, помочь ссыльному обзавестись семьей. Появится подруга, пойдут дети, и тут уж не до побегов. Успевай поворачиваться: вставь пораньше, ложись попозже.

Однако местные старожилы, люди служилые, казаки и стрельцы да вольноприходцы-крестьяне весьма неохотно отдавали дочерей своих за ссыльных. И неслись в Сибирский приказ десятки жалоб примерно такого содержания: «Все мы людишки одинокие и холостые. Как, государь, с твоей государевой пашни придем — хлебы печем, и ести варим, и толчем, и мелим сами. Опочиву нет ни на мал час! А кабы, государь, у нас, сирот твоих, женушки были, мы бы хотя избынные работы не знали.

Милосердный государь, царь, смилуйся, пожалуй нас, сирот твоих бедных, своим царским денежным жалованием на платьишко и на обувь и вели, государь, нам прислати пулящих женочек, на ком жениться».

Землепашцев мало тревожили такие «пустяки», как моральный облик и прежние занятия своих будущих подруг. Они были уверены, что тяжкий крестьянский труд, семья, дети, а в случае необходимости, тяжелая рука мужа в состоянии перевоспитать даже самую закоренелую преступницу.

Ситуация, которая кажется нам сегодня довольно комичной, для XVII века вырастала в весьма серьезную, трудно разрешимую проблему. Правительство требовало от воевод, чтобы сибирская пашня год от года расширялась, чтобы можно было поскорее избавиться от дорогостоящих хлебных посылок из-за Урала, чтобы служилые люди, атаманы и пятидесятники, были обеспечены местным довольствием. Для того и шлет Москва в Си-

бирь, на пашню, все новые и новые сотни ссыльных людей. Но как закрепить их здесь? Как сделать, чтобы они не бежали, бросив на произвол судьбы свое еще не окрепшее, не ставшее на ноги хозяйство? Ведь в этом случае летели на ветер тысячи казенных рублей, выданных поселенцам в порядке подмоги.

Было от чего ломать голову сибирским воеводам. После долгих колебаний и раздумий кузнецкий воевода решился на такой шаг. В случае отказа местных жителей выдавать своих дочерей за ссыльных он приказал «имать в государеву казну по пяти рублей».

Царское правительство полностью одобрило действия Афанасия Зубова. В полученном из Москвы предписании говорилось: «Ты б кузнецким старым пашенным крестьянам велел дочерей своих и племянниц выдавать замуж за ссыльных холостых людей, за пашенных крестьян, чтоб тем тех ссыльных холостых людей от побегу унять и укрепить, а буде выдавать замуж не учнут, имать на нас пеню большую».

К числу главных трудностей в деле сельскохозяйственного освоения бассейна реки Томи в XVII веке следует отнести нехватку крестьянского населения. Пришлые в Сибирь своей охотой так называемые вольнопоселенцы старались обойти стороной этот благодатный край.

Природные условия Кузнецкого уезда, казалось, должны были благоприятствовать притоку населения, успешному развитию земледелия. Где еще в Сибири найдешь такой удивительный, благодатный край! Здесь в избытке хватало плодородных земель, имелось достаточное количество тепла и влаги, а обычные для Сибири жестокие зимы были не слишком то и суровы.

Однако вопреки этим благоприятным факторам, вопреки значительным усилиям местной администрации достичь сколько-нибудь удовлетворительных результатов в деле становления кузнецкой пашни в течение всего XVII века так и не удалось. Попытки правительства прекратить поставки хлеба в Кузнецк из северных сибирских городов (Томска, Тобольска) встречали решительный отпор со стороны здешних служилых людей.

Вместе с тем следует отметить, что именно служилым людям Кузнецкого уезда принадлежала роль первопроходцев в деле создания основ земледелия. Большинство деревень, заимок, починков в долине реки Томи в XVII веке также было основано казаками, стрельцами, дяками и подьячими. Сами старинные названия деревень Кузнецкой земли, таких как Атаманова, Монастырская, она ж Прокопьевская, Подьякова, довольно красноречивы.

Возможности служилых людей в деле развития земледелия в Кузнецком уезде были довольно ограничены. Сама служба в этом порубежном районе требовала от служилого человека полной отдачи всех сил. Как бы оправдываясь перед правительством за более чем скромные результаты в деле развития кузнецкой пашни, служилые люди писали: служат они «всякие зимние и летние службы и ходят в зимнее время на лыжах в ясашные волости, збирая соболиный ясак и всякую рухлядь с великим радением, а в летнее время оберегают Кузнецкий город и уезд, и ясашные волости, а в городе по валу и по проезжим воротам, и по всяким причинным местам стоят днем и ночью з детьми, и з братьями, и з племянники на две перемены, а в иные времена беспеременно. И от тех служб и дальних посылок оскудали и одолжали неоплатыми долгами, а хлебные пашни у них малые, только ради пропитания своих нуждиц и на тех пашнишках по все годы хлебные недороды, а яровой хлеб западает снегом, а иной выбивает градом и зарастает травой... и от хлебного недорода и градного побою и от покупки хлеба дорогою ценою раззорили без остатка».

Не преувеличили ли авторы документа тяжести своего положения? Не стусили ли краки? Вполне возможно. На то она и челобитная, чтобы кого-то разжалобить, у кого-то что-то выпросить. Вместе с тем следует заметить, что здесь реально показаны сложности жизни в этом порубежном сибирском крае.

Приведенные примеры красноречиво свидетельствуют о том, каких огромных усилий потребовало заселение и хозяйственное ос-

воение такого обширного района, как бассейн реки Томи. Построить сотни деревень, поднять тысячи десятин веками не тронутых целинных земель, проложить дороги, навести мосты, поставить на речках и ручьях мельницы, сделать этот район удобным для жизни, обжить его — это ли не трудовой подвиг тысяч простых русских людей, наших предков, подвиг будничный, требующий сил, выносливости и терпения!

В XVIII веке обстановка в регионе постепенно разрядилась, стала менее напряженной. Набеги кочевников на русские крепости и деревни в Притомье прекратились. Население в этом благоприятном для земледелия районе стало год от года увеличиваться, быстро расти. Несмотря на все сложности, за столетие здесь были основаны сотни русских сел и деревень. По переписи 1720 года только на территории одного лишь Сосновского ведомства значилось 106 населенных пунктов.

Во время своего путешествия по реке Томи С. П. Крашенинников, участник Великой Северной экспедиции, выдающийся русский ученый XVIII века, отметил в своем путевом дневнике деревни Кемерову, Щеглову, Березову, Чернову, Бородину, Багрову, Мозжухину, Глубокую, Писаную, Талую. Почти все эти населенные пункты сохранились до наших дней.

Как и прежде, основателями многих русских деревень в бассейне реки Томи продолжали оставаться служилые люди. Вместе с тем увеличилась в этом деле доля крестьян.

Однажды из долгих странствий по востоку, с Лены и Алдана, в Томск вернулся знаменитый сибирский землепроходец атаман Дмитрий Копылов. Многолетние скитания утомили старого воина. Ему захотелось остаток дней прожить в одном месте, приобрести собственное пристанище, осесть на земле, заняться на склоне лет мирным крестьянским трудом.

Где найдешь земли лучшие, чем в Притомье! Потолковав со знатоками, Копылов со своими спутниками отправился из Томска вверх по течению реки. Медленно плыли казацкие челны, внимательно вглядывались гребцы в при-

брежные места. Кругом, куда ни бросишь взгляд, простирались зеленые луга, колыхалась под легким ветром высокая и сочная трава. А сколько было вокруг мест, пригодных под пашни, сколько было красивых сосновых лесов, густых березовых рощ!

Недолго побродив по просторам долины реки Томи, казаки вместе со своим атаманом решили поселиться в сосновском ведомстве. Так в Кузнецком уезде появилась еще одна деревня — Копылова при речке Колбихе.

Свободных земель в Притомье было пока еще много. Каждый поселенец сам, по своей охоте, занимал приглянувшийся ему участок, обрабатывал его, пока он давал хорошие урожаи. Такая система землепользования называлась вольнозахватной.

Земли, как правило, не удобрялись. После нескольких лет интенсивной эксплуатации они забрасывались. Преобладали перелог и трехполье.

Жители Кузнецкого уезда сеяли рожь, овес, ячмень, лен, коноплю. С XVIII века в сельский быт начала широко внедряться пшеница. Уборку зерновых производили серпами. Для того чтобы справиться с уборкой хлеба, на одной десятина приходилось затрачивать более сорока человеко-дней.

Целыми днями, нередко под злым, пронизывающим до костей осенним ветром, все жители деревни — взрослые и дети — старательно срезали серпами колосья и бережно собирали их в снопы. С десятины их набиралось более семисот.

Постепенно вдоль всего поля вырастали аккуратные суслоны. Каждый из них состоял из девяти снопов. Десятый сверху, словно шапка, прикрывал суслон от дождя. До самой поздней осени хлеб хранился в поле, в суслонах. Затем, после окончания жатвы, снопы начинали возить в клады, поближе к дому. Уже зимой начиналась молотба.

Исключительно важное значение в натуральном хозяйстве крестьянина придавалось посевам льна. Поселенцам приходилось заботиться не только о хлебе насущном, но и об одежде. Сарафаны и платья, кофты и юбки, мужские и детские рубашки, порты, нижнее белье — все это шили женщины-хозяйки, как

правило, из собственного грубого или тонкого холста.

Надежными помощниками своим матерям в многотрудном деле обработки льна были дочери. Сколько песен было перепето девушками-крестьянками длинными зимними вечерами во время работы над пряжей! Даже на веселую сельскую вечерку, на свидание с милым дружкой многие являлись с легкой прялкой и быстрым веретенем. Сколько искреннего чувства было вложено в это ласковое, песенное обращение: «Лен ты мой, ленок...»

С годами в сельский быт все прочнее стал внедряться табак. Он тоже требовал к себе постоянного внимания и ухода, зато одаривал хозяина неплохим заработком.

В конце XVIII века в Притомье появились первые посевы картофеля. В указах царского правительства его навеличивали пышно и громко — «земляные яблоки». Это дало повод консервативно настроенным крестьянам-старообрядцам, которых было довольно много в бассейне реки Томи, пустить в ход слухи, что это вовсе не земляные, а «чертовы яблоки». Именно с их помощью, толковали старообрядцы своим легковерным слушателям, сатана соблазнил когда-то нашу Еву.

С внедрением посевов картофеля были связаны надежды победить голод. Действительно, жизнь часто подтверждала, что в неурожайный, неблагоприятный год картофель, неприхотливый и выносливый, не раз приходил на выручку, а то и спасал от неминуемой голодной смерти.

Первые посадки картофеля в Кузбассе появились в аптекарском огороде салаирского госпиталя. Отсюда его семена постепенно разошлись по окрестным деревням.

К середине XIX века картофель уже довольно прочно обосновался на полях Притомья. Ему даже удалось покинуть довольно тесные пределы крестьянских огородов и выйти на просторы полей. Сибиряки постепенно привыкли смотреть на картофель как на второй хлеб, как на важное подспорье в питании, особенно в голодные годы. О «чертовых» и «земляных» яблоках уже вспоминали с улыбкой.

По мере заселения и хозяйственного освоения бассейна реки Томи здесь появляются все новые и новые отрасли сельскохозяйственного производства. Одной из них стало пчеловодство. На территорию Кузнецкого уезда оно пришло из районов Горного Алтая, куда в свою очередь было завезено из Башкирии.

Притомье с его многочисленными речушками, ручьями, глубокими логами, заросшими черемухой, различными благоухающими кустарниками, с просторными лесными полянами, усыпанными дикими цветами, постепенно превратилось в крупного производителя меда.

Значительный очаг товарного пчеловодства постепенно сформировался на юге современного Кузбасса, в районе старинного сибирского села Кузедеева. Здесь от самой глубокой древности сохранились удивительные по своей красоте липовые леса. Благоухающий липовый остров был раем для пчел.

Жители здешней округи, конечно, воспользовались выгодами своего положения, завели богатые пасеки. Кузедеевский мед пользовался громкой славой не только в Сибири, но далеко за ее пределами. Из различных уголков обширного сибирского края сюда приезжали скупщики-оптовики, скупали его сотнями пудов. Ни на прилавках купеческих магазинов, ни на возах на знаменитой Ирбитской ярмарке — нигде не залеживался знаменитый кузедеевский мед. Поставлялся он даже в Петербург, к царскому столу.

Для населения кузнецкой котловины серьезным подспорьем в хозяйстве являлась заготовка кедрового ореха. Жители старинных деревень — Балахниной, Пашковой, Ботевой, Шубиной, что в Яшкинском районе Кемеровской области, обитатели Кузнецка и его окрестностей, промысловики Горной Шории и Мариинской тайги поставляли на рынок тысячи пудов этих ценных даров природы.

Бассейн реки Томи был очень богат боровой дичью, пушным зверем — соболем, белкой, лисицей, бобрами. Местные жители охотились на медведей, волков, лосей, косуль. На всю Сибирь гремела слава девушки-охотницы. На ее боевом счету было более трид-

цати убитых медведей. Причем охотилась она, как правило, без ружья, с одной рогатиной и ножом.

Немало любителей стремились познакомиться с щедрыми дарами Кузнецкой земли. Нынешним летом мне довелось просматривать описи фондов императорского Искитима в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде. Внимание обратили странные, на первый взгляд, названия некоторых дел: «О привозе с Алтайских заводов для Двора Его Величества рябчиков и рыбы». Подобных дел — десятки. Отличаются они между собой только датами. Караваны с дичью из кузнецких лесов и рыбой из здешних рек уходили в Петербург и в 1857, и в 1858, и в 1859, и в следующих годах.

Наши предки вложили огромный труд в освоение бассейна реки Томи, этой жемчужины Сибири. За четыре столетия, прошедших после вхождения Сибири в Россию, в Притомье, некогда диком и заброшенном крае, трудом десятков тысяч русских крестьян было создано довольно развитое сельское хозяйство, получили развитие пчеловодство, охота, рыболовство, промыслы.

...На моем рабочем столе лежит любопытный старинный документ. Ему уже почти двести лет. Это «Список деревень Кузнецкого уезда», составленный в 1782 году. Я внимательно вчитываюсь в названия русских селений в Притомье, и будто незримые нити связывают сегодняшний день с нашим прошлым.

Вот в списке деревня Кемерова, а рядом ее верные подружки — Щеглова, Искитимская, Егунова. Все они исчезли. Зато вырос на древних берегах Томи молодой красавец город с десятками заводов и фабрик, со школами и больницами, с магазинами и столовыми, с тысячами жилых домов — словом, со всем, что необходимо современному человеку с его большими запросами для нормальной жизни. Почти ничего не осталось от старых, столетия простоявших селений. Разве что деревня Сухова, ровесница своих подруг, еще смотрится в темные воды Томи. Однако огромный город почти вплотную приблизился к ней... Как светлая память о прошлом, как свидетельство вечной связи времен осталось и,

очевидно, долго будет жить имя старинной русской деревни — Кемерова.

А вот еще одна похожая судьба — судьба деревни Антоновой. Она тоже некогда стояла на самом берегу Томи, основанная первопоселенцами рядом с Кузнецкой крепостью. Нет сегодня и этой деревни. Зато еще совсем недавно была знаменитая на весь мир «Антоновская площадка», на которой вырос красавец гигант — Западно-Сибирский металлургический завод.

Новокузнецк поглотил славный своей историей и традициями Кузнецк, и знаменитое некогда село Ильинское, и деревню Бунгурскую, и Антонову, и Бессонову, и еще ряд селений русского Притомья.

Очень скромная некогда деревня Белова дала имя своему молодому, быстрорастущему городу Кузбасса. То же самое можно сказать о деревне Прокопьевской (она ж Монастырская). Давно нет уже Мунгатского острога, зато есть совхоз «Мунгатский». Нет деревни Колмогоровой, но есть Колмогоровский угольный разрез и рабочий поселок. Нет деревни Полысаевой, но есть шахта «Полысаевская», нет деревни Артыштинской, зато есть железнодорожная станция Артышта. Таких примеров в Кузбассе много. Здесь на каждом шагу седая история тесно сплелась с современностью.

Города, села, деревни — как люди. Они рождаются, имеют свой долгий или короткий век, умирают. Одним суждено прославиться на весь мир, другие, достойно прожив негромкую трудовую жизнь, в неизвестности умирают.

Но почему в неизвестности? Разве это справедливо? Приходится напоминать, что история Кузбасса — это не только история шахт, угольных разрезов, заводов и фабрик. Это история не только промышленности, но и сельского хозяйства, не только городов, но и деревень, не только рабочих, но и крестьян. Как у всякой истории, у нее есть не только день сегодняшний, но и вчерашний и даже позавчерашний. И знать их необходимо, чтобы не быть, как говорил В. И. Ленин, иванами, не помнящими родства. Должны ли мы стыдиться наших предков — скромных пахарей, терпеливых

скотоводов, удачливых охотников, умелых строителей?

Мы в большом долгу перед нашей кузнецкой деревней, а значит, и перед историей нашей земли. Нам нужно глубоко заняться ее прошлым. Хорошими помощниками в этом деле могут стать сельские учителя, работники культуры и сельского хозяйства, школьники, любители-краеведы.

Нужно не бояться сидения в архивах, старательно записывать воспоминания ветеранов, предания и легенды об основателях сел и деревень, копаться в библиотеках, ворошить подшивки старых газет, собирать вырезки, фотографии, создавать сельские музеи.

Нам очень нужна вечная связь поколений, труда, времен. Хорошо жить на земле, в которой у тебя глубокие корни!



ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Из последних пяти-шести лет 1981 год был наиболее плодотворным. Писатели и литераторы провели более восьмисот творческих встреч на фабриках и заводах, в учреждениях и учебных заведениях, в колхозах и совхозах.

Читатели с интересом принимают литераторов-земляков. Встречи проходят на высоком творческом уровне, с квалифицированным обсуждением прочитанного.

В минувшем году писатели побывали во многих городах и районах области: в Таштаголе, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Чебулинском, Ижморском, Марининском, Топкинском районах.

Хорошо помогали в организации творческих встреч Междуреченский, Киселевский, Таштагольский горкомы партии; Чебулинский, Марининский райкомы.

С особым удовлетворением хочется отметить, что в минувшем году была установлена постоянная дружеская связь литераторов с областным управлением Министерства Внутренней службы Кемеровского облисполкома. В каждом городе, каждом районе литераторы с удовольствием встречались с читателями органов милиции. Это были, пожалуй, самые организованные встречи. Верится, что эта дружба будет постоянной.

Наиболее активное участие в проведении творческих встреч с читателями принимали Владимир Матвеев, Игорь Киселев, Зинаида Чигарева, Валерий Зубарев, Валентин Махалов, Владимир Куропатов и молодые литераторы — Владимир Коньков, Сергей Донбай, Борис Рахманов, Владимир Петраш, Семен Печеник, Виталий Креков.

Впереди новые встречи с читателями.

А. Гуковский,

уполномоченный Западносибирского бюро пропаганды художественной литературы
при Кемеровской писательской организации

Мэри Кушникова

ЧАЛДОНСКИЙ КОРЕНЬ

ДУША ДОМА. Осенью 1978 года старинному деревянному дому по улице Трудовой, 60, грозил снос. А этот дом—последний, оставшийся от прежнего Щегловска. Оцененный в 120 рублей, он заранее был продан на дрова еще до того, как его обитатели получили новые квартиры. Но вот дом опустел. К нему подкачали «бабу» — дому осталось жить минуты... Однако акция «дом по улице Трудовой» к тому времени уже успела приобрести гласность, и несколько организаций срочно и категорично встали на пути разрушения. Схватка закончилась их победой. Дом уцелел. Теперь он стоял одинокий и бесхозный и, укоризненно глядя пустыми окнами, ждал, когда закончатся дебаты: кому брать его на баланс. Охотников не было: сохранение его сулило лишь расходы и хлопоты...

...Теперь постановлением облисполкома дом все-таки утвержден в правах как памятник истории и деревянного зодчества и даже вступил в стадию реставрации. Сейчас уже не верится, что судьба его висела на волоске. Решающими могли оказаться малейшие вехи его биографии. Биографию же эту приходилось собирать по крупицам. На одну из моих газетных публикаций откликнулась кемеровчанка Валентина Павловна Губкина, дочь бывшего хозяина дома. Так была установлена причастность его к «чалдонской» династии Губкиных. Фотографии, которыми сопровождала свой рассказ В. П. Губкина, оказались истинной находкой. Они подкрепляли семейные предания старого сибирского рода и придавали им весомость. Оживала монументальная фигура Павла Исаевича Губкина, который в 70 лет гонял плоты вниз по Томи. Павла Губкина — красного партизана...

Они лежали передо мной, фотографии и записи. Дочь Павла Исаевича обстоятельно и неторопливо рассказывала про дом, который отец ее перевез из Салтымакова в Кемерово. Но рассказ ее был не столь о старом доме,

сколько о замечательной династии сплавщиков — партизанах гражданской и воинах Великой Отечественной войны, «чалдонах» Губкиных...

Вы знаете, откуда есть — пошло село Исаево, что под Новокузнецком, куда охотно едут отдыхать летом горожане? В последние годы крепостного права, где-то под Царицыным, в некоем имении (Валентина Павловна рассказывает со слов отца и некоторые названия и фамилии помнит неточно, а потому не называет) помещик явился на сенокос и оскорбил двух братьев, крепостных, Александра и Макара, сыновей Григорьевых по фамилии Губкины.

Братья были не из робких, «стащили за ноги помещика с коня и сильно поувечили». Так Александр Губкин очутился в селе Салтымаково, а через несколько лет — после отмены крепостного права — приехали сюда и его братья Иван, Макар и Исай искать счастья в далеких краях. Исай завел себе под Кузнецком заимку, которая так и осталась «Исаевой заимкой», зовется и поныне Исаево, храня память об Исае Губкине. В Салтымакове в 1860—1862 гг. братья Александр и Макар поставили хороший деревянный дом — обжились.

И как было не обжиться работающим, ко всякому труду привычным бывшим крепостным! Стали они сплавщиками — по Томи лес сплавляли. Семьями обзавелись — пошли дети. У Исаево шестеро сынов росли: Федор, Игнат, Илларион, Иван, Василий и Павел. Младший, Павел, родился в 1883 году. Уже в 14 лет по Томи плоты гонял до Томска, а в 16 — слыш «опытным человеком в своем деле» и стал лоцманом. В 20 лет надумал жениться Павел Губкин. Невеста, Мария Гавриловна Пермьякова, была с заимки Черный Этап (название заимки — оттого, что здесь был привал для приписных людей, которых гнали на приисковые работы). За Пашу Губкина всякий рад дочь отдать — Губкины взяли под Кузнецком лесосеку в поселке Ярыгино и еще в заимке

Коврижка. Рубили черемуху, прутья скручивали. Ими ставы в 30 лесин связывали — в Томск гнали. К свадьбе тогдашний владелец дома, о котором идет речь, Николай Иванович Губкин, подарил молодым этот дом «на обзаведение» — впрок для большой семьи.

Бывшие крепостные Губкины уже крепко встали на ноги, плотгоны были отменные, всеми уважаемые люди — у каждого жилище своими руками поставленное. Павел Исаевич имел постоянные дела в Щегловске. Дом, так любовно построенный (только что освобожденными крепостными), как свидетельство первого в их роду благосостояния перевез в это село. Со всеми флигельками, резными орнаментами над окнами и галереями. «Много на тех галереях чаев попито! — вспоминает В. П. Губкина. — восстановить бы все, как было».

Разглядываю поздние фотографии Павла Губкина. Высокий, кряжистый, с узким, чуть горбоносным лицом, с окладистой бородой, расчесанной «на пробор». Шли годы, а по фотографиям судя, почти не менялся Павел Губкин. Вот ему 80 лет. А вот и все 90 — персональный пенсионер Губкин сфотографировался незадолго до кончины. Умер он в 1975 году, похоронен в Березове. («А мы, чалдоны, — крепкие. Отец бы еще жил и жил — только он упал и ногу сломал, а так здоровехонек был. А что удивляться? Дядя Федор — второй среди братьев, так он 98 лет прожил — скончался в 1973 году. Он все говорил, что дом-то наш с 1873 года стоит, — по старости много забывать стал. А я-то точно от отца знаю: строен в 1860—1862 гг., а привезен сюда в 900-х годах. Тоже немало стоит — 120 лет, а из них 80 — здесь вот!»). Валентина Павловна с любовью и гордостью говорит о доме, о своем отце, о губкинском роде. Перечисляет уважительно каждого отдельно, по имени-отчеству: «братья отца, значит, Василий Исаевич, Федор Исаевич, Игнат Исаевич...» Вспоминает маленькие семейные истории, которые любовно передавали детям отец и мать. Например, как молодые Губкины приехали из Щегловки к дедушке Макару (тому, горячему, что вместе с братом «помещика сильно поувечили»). Дедушка Мака сиднем сидел на Черном Этапе. Не в пример остальным братьям, что «вовлочки и в охотку трудились на Томи». Привезли ему молодые Губкины керосиновую лампу в подарок. Старик сотворил крестное знамение и отшатнулся от «лукавого» — в срубе своем предпочитал освещение без всяких затей: кружок скотского сала, в него воткнул фитиль. Зажги — и да будет свет...

ОТЦЫ... Род Губкиных вписал немало славных имен в летопись гражданской войны. Старшее поколение — все шесть сынов Исаевых —

были красными партизанами. Жену партизана Игнатия — отважную связную отрядов Путилова и Кузнецова Татьяну Губкину долгие годы односельчане избирали в Крапивинский сельсовет.

Не все партизаны Губкины дожили до восстановления Советской власти в Кузбассе. Но Федор, Павел и Илларион, которым судьбой отмерен был чуть не столетний путь, не покладая рук трудились на благо новой, советской деревни, ими защищенной, кровью братьев и односельчан освященной. Но прежде...

Из автобиографии и рассказов отца и из воспоминаний матери Валентины Павловны Губкиной всплывал грозный 1919 год.

...Первый арест Федора и Павла Губкиных на Черном Этапе. «Нас оставили под охраной двух юнкеров — Быстрова и Кочубея. А остальные ушли в штаб в доме купца Елонова решать о наших жизнях, расстрелять нас или повесить. Мы, зная о нашей участи, накинулись на юнкеров и обезоружили их, отняли браунинги, считая, что нас так и так ждет смерть...» — (из автобиографии Павла Губкина). Спасенные собственным мужеством, Губкины бежали в тайгу...

...Потом Павла Губкина белые схватили в Салтымакове. Валентины Павловны еще и на свете не было, но мать хорошо запомнила, «как покaleчили отца беляки, руки, ноги прикладами переломали, в затылок стреляли и в ров бросили». Так он лежал до ночи, а как очнулся — пополз к заимке Черный Этап. Не дополз. В деревне Монастырке его схватили по доносу. Пароходом отправили в Томск. «Я не боялся конвоя и говорил им, что теперь они ведут меня одного семь человек, а будет время, что один наш поведет их по восемь человек. А руки у меня были в полотенце, привязанном за шею, и кисти мои при движении стучали одна об одну как неживые...» — (из автобиографии Павла Губкина).

Павел Губкин был при смерти. Сперва колачковцы посадили его в одиночку. В так называемый «секретный коридор» томской тюрьмы. Потом перевели в тюремный лазарет — берегли добычу. Считали, что многое может рассказать про «мятежные красные заимки». Жена Павла Губкина с двухгодовалым сынишкой на руках ушла из Салтымакова. В зыбке остался младшенький на попечении ее стариков родителей. Сорок километров шла женщина по тайге. («Комары кусают, в руке узелок с хлебушком. К ручейку подойдет — из руки сына напоит и дальше пошла. Как начнет мать рассказывать, так и плачет!»). Добралась до родной заимки Черный Этап, а ей говорят — уходи, тут твоего беляки уж искали, и тебя как жену партизана прирежут. Уходи в Щегловку. Авось там пересидишь беду, пока белые уйдут! И невдомек ей, что в это же вре-

мя, к этой же заимке ползет-тянется чуть живой Павел Губкин. В Щеголовке уж узнала, что Павел в Томске, в тюремном лазарете лежит. («Со стола ел прямо из тарелки губами. Руки перебиты — они же у него не действуют»). И уж ждуть-не дождутся белые: вот-вот можно будет допрос вести. Подалась в Томск. Врача разыскала. В ноги кинулась — не выдавай. Совала в руки свадебное кольцо, перстень девичий — отцов подарок. Врач Громов подношения оттолкнул: «Обещал — не выдам!» Да и то сказать — свои уж близко, свои уж рядом. Только бы переждать, только бы дождаться. А в это время...

...23 ноября 1919 года временно исполняющий должность начальника штаба поручик Прокофьев подписал «Оперативную сводку штаба гарнизона г. Томска об операции колчаковских войск против партизан», за № 409 и под грифом «Секретно». «Наряду с районами, где было относительно спокойно или только появлялись красивые отряды, — говорится в донесении, — Щеголовский район вызывал большое беспокойство... В деревне Салтымакове соединились банды Кузнецова и Губкина силой в 120 человек и банда Смердина — до 100 человек и, пользуясь своей недосыгаемостью вследствие ледохода на р. Томи, всячески там своевольничали. 15 ноября Томь стала, и немедленно из Крапивина отправился отряд в 50 штыков, подкрепленный 15 партизанами из д. Междугородской и 10 партизанами из д. Чесноковской. Под общей командой прапорщика Нестерова 16 ноября Салтымаково было оцеплено, и шайки после пятичасового боя были разбиты и выбиты из деревни, причем бандитов пришлось выбивать из домов штыками. В бою убито 30 бандитов и главарь Губкин, с тремя бандитами засевший в погребе, где он был сожжен вместе с домом. С нашей стороны потерь нет. Захвачено 15 винтовок, 15 седел, 60 штыков и 6 саней. Производится выселение бежавших в тайгу бандитов». «Партизанами» в официальных колчаковских документах именовались белогвардейские дружинники, вербовавшиеся большей частью из кулаков...

Не знал Павел Губкин, честью врача и любовью жены спасенный, что лютой смертью погибли старшие братья. («Иван от беляков принял смерть в Салтымакове, Василий в Салтымакове же в избе засел — один против беляков отстреливался сколько мог. Вышли патроны. «Сдавайся!» — приказывают белые, — не то избу спалим». — «Черт с вами, палите!» — крикнул Василий и из избы не вышел, не сдался. Так и сгорел в своем доме. Брату же Игнату белые на полном конском лету шашкой голову срубили в деревне Терентьево. Так и принес его конь к дому, обезглавленного.

«А мы, Губкины, все такие — от правды не отстанем. Чалдоны мы или нет?»).

Многожды удивляясь жизнестойкости, убежденности, лихому мужеству, преданности своему делу — делу революции, которые читаются в каждом слове автобиографии Павла Губкина и слышатся в рассказе дочери отважного партизана...

...И ДЕТИ. А много было сестер-братьев у Валентины Павловны? «Как немного — всего двадцать человек детишек. Только двенадцать в детстве померли, а восемь живут». И опять перечисляет: Дмитрий Павлович, Иван Павлович, Василий, Александр, Галина, Виктор, Юрий. (Мать В. П. Губкиной заслуженно сила звание матери-героини.)

Как сложились судьбы сестер, братьев Губкиных? Обыкновенно сложились. («Брат Дмитрий Павлович под Сталинградом бился. В атаке ногу потерял — подорвался на mine. Теперь инженером в Славянске работает — он все записи про нашу семью и наш род чалдонский ведет, прямо как летописец какой! А брат Иван с самого первого дня войны на границе был — первый бой принял, и отступал, и наступал. До Берлина дошел. Рядом с отцом в Березове покойся — не было ему длинного века, война, покалечила... После победы погиб, сопровождая эшелон из Германии в Ленинград, брат Василий. Воевал в Великой Отечественной и брат Александр — теперь тут же, в Кемерове, живет...»)

Сродные братья? Тоже в отцов пошли. («Вот дядюшка Федор — как беляки ни пытали, а он все равно выстоял — слова лишнего не сказал, никого не выдал. Его сын Алексей, что без вести пропал в 1944 году, на фронте в Прибалтике лично бой выиграл против фашистских танков.»)

Нет, это не преувеличение. В августе 1944 года в последнем письме к отцу Алексей Губкин писал: «Мы воюем у стен Германии. Меня наградили еще одной наградой — орденом Славы, получил благодарность от товарища Сталина за форсирование трех рек: Прони, Березины и Днепра. Недалек тот день, когда мы вернемся с победой». И вот копия газетной заметки (она хранится в семье Губкиных), в которой описан последний бой Алексея Федоровича Губкина: «Немецкая пехота стала залегать, а танки пошли туда, где по прямой наводке стояли орудия артиллеристов Каюма, Захарова, Губкина... Губкин один у орудия принял неравный бой — действовал за четверых...» («Еще хорошо воевал у нас Сережа — дядюшки Игната сын. На озере Хасан был, под Воронежем и под Сталинградом в войну был. Инвалидом стал, а духом не упал. Недавно только на пенсию вышел, в «Кемерово-

промстрое» полную четверть века трудился.) Почти все Губкины осели в Салтымакове и Березове, живые и мертвые. Здесь и сейчас живет Фаина Губкина, дочь Федора. Здесь покойся Павел и Иван Губкины.

...Но был еще дядюшка Иван Михайлович, что «на отшибе от губкинского рода жил». Это тот, что Павлу Губкину «братенником» приходился. («Не то геолог, не то академик. Когда умер, извещение нам прислали, приезжайте, мол, свою долю наследства получать. А мы не поехали. У нас и так всего хватало, работали досыта и на жизнь свою тоже не обижаюсь.») И выясняется, что «не то геолог, не то академик» — это тот самый Иван Михайлович Губкин (1871—1939 гг.), именем которого назван один из виднейших научных институтов в Москве, академик, награжденный Ленинской премией, с 1931 года руководитель Государственной геологической службы СССР, основоположник теории происхождения нефти.

Рассказ о знаменитом «дядюшке Иван Михайлыче» ведется так же буднично, как про замечательную когорту воинов Великой Отечественной, продолживших боевую славу отцов, революционным подвигом вписавших Губкинскую фамилию в огненные строки гражданской войны. Неторопливо и привычно повествуется и об удивительно колоритной фигуре сплавщика Павла Губкина — красного партизана Губкина, образ которого для семьи — полуполюбопытный.

Валентина Павловна рассказывает по своим воспоминаниям, по рассказам матери и старшей родни. Ловлю себя на том, что показавшееся сенсационным сообщение о родстве — пусть далеком — с академиком Губкиным меркнет и кажется куда менее важным, чем деяния замечательных Павловичей, Игнатьевичей, Федоровичей, верных сынов губкинского рода.

Перечитываю записи рассказа Валентины Павловны и думаю: вот мы говорим «чалдоны», и слово это абстрактно обозначает прижившихся в Сибири переселенцев из России. Но вот же она, живая история зарождения «чалдонской» династии, в крепостном горюшке зачатой, в сибирской тайге мятой, Томью-рекой облаканной и ею же сурово испытанной.

ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ ПАВЛА ГУБКИНА. Минули тяжкие времена. Старый дом в Щегловке гостеприимно принимал не только все семейство Губкиных, все его поколения, но и всех приезжих земляков из Салтымакова. Павел только наездами бывал — все больше по лесозаготовкам разъезжал. В 1929 году семья Павла и вовсе в Салтымаково переселилась, а дом Губкина в Кемерове превратился в городскую гостиницу. Дела же у Павла — с тайдонским леспромхозом. И годов уж много, а все

трудится. В 1949 году все семейство опять жило в Кемерове, в маленьком доме на Пролетарской улице. А потом этот дом снесли, и все получили хорошие квартиры. Сам Павел Губкин уже плоты не гонял. Только работы организовывал для леспромхоза, бригадирствовал. Ему было под 70. И тут вдруг решил: детей-то обучить надо родовому губкинскому ремеслу! Снял Валентину с работы — она техничкой устроилась на гормолзаводе. («Скоро, мол, тридцать лет стукнет, а ты еще реки путем не видала.») Сыновей созвал, Ивана, Виталия и Юрия, дочь Галину: хочу, мол, вам таежные места показать! Так состоялось приобщение еще одного поколения Губкиных к Томи. Старый сплавщик знал все косы, все рифы, всю Томь изучил — с ней породнился. В том году как будто вторая любовь сплавщика Павла Губкина к реке вспыхнула.

В 1953 году, будучи семидесяти лет от роду, он вновь собрал детей и погнал в Томск 12 ставов. Сам на двух стоял, Валентина с Галиной — на шести, один из братьев — на четырех. («И плыли мы, плыли, а тут лесины разбило. Я сама к берегу веслом веду, плот повернула, по канату на берег вышла. Еле выжила!») И угомонились после этого удивительные Губкины, потомственные плотгоны? («В следующем году вновь по реке пошли. И опять ниже Тайдона лесины разорвало. Уже и снег шел. Катерок нас взял — к берегу доставил. Там и заночевали. Костер развели, угли разгребли, легли в пихту, а она как печка греет. Утром встали, на нас снегу сантиметров двадцать навалило. Но ничего. Отец все подправил — утром опять на плот сели. С нами конь еще всегда был — на всякий случай. Ему корму запасали. Себе еду на плоту варили. Костер камнями обложим — и горит себе. За четверо суток до места и добрались. И так мы это дело губкинское полюбили, что уж сами отца просили: возьми, не оставь дома.»)

В 1955 году застряли около села Лягушьего. Валентина, Галина и младший, одиннадцатилетний братишка Юрий, просидели трое суток в землянке на «острове Серебряном» — это около Лягушьего, лесосека так называлась. Отец пошел за помощью — сестрам коня оставил: вдруг понадобится. А плоты совсем развезло — видно, надолго засели. Братишка плачет, есть хочет. Отца все нет. Сели сестры на коня верхом и подались в Лягушье. «Хватились, а денег-то нет нисколько! Что тут делать? Любимые сережки продали. На все 12 рублей хлеба накупили — и скорее к братишке. Только у Томи не выдержали — размочили хлеба в воде, поели, а то совсем обессилили за трое-то суток. Только братца накормили — и отец явился. Вот радости-то было! И опять в путь-дорогу! (Сказано ведь, чалдоны, — они такие!»)

ДОЧИТАННАЯ СТРАНИЦА. Судьбы документов бывают не менее удивительны, чем судьбы людей. Документы, освещающие одно и то же событие, могут десятилетиями, а то и веками храниться в самых непредвиденных местах и лишь волею случая воссоединиться и заполнить пробелы в мозаике событий.

В 1918 году странствующий фотограф забрел на заимку Черный Этап и «снял на карточку» братьев Губкиных — Федора, Павла, Игната, Иллариона, Василия и Ивана. Почти через полвека дети Ивана Исаевича Губкина нашли старые выцветшие фотографии и решили их обновить. В то время Павлу Губкину было за восемьдесят, а брат Федор далеко перешагнул за эту веку. Что до братьев — Василия, Игната и Ивана, — как мы уже знаем, они пали смертью героев.

Фотографии передала мне осенью 1978 года дочь Павла Губкина, Валентина, пятидесяти шести лет от роду, одна из двадцати его детей.

12 ноября 1964 года Павел Исаевич Губкин 81 года от роду передал областному краеведческому музею написанную от руки автобиографию. Долгие годы она покоилась в фондах музея рядом с фотокопией вышеприведенного донесения колчаковцев — поистине такого соседства нарочно не придумаешь! За строками автобиографии Павла Губкина оживают события далеких и бурных лет в селе, где жили староверы и где буйствовал неистребимый купец Елонов — главарь банды кулаков и приспешник колчаковцев. В октябре 1969 года Павел Губкин обратился в газету «Кузбасс», чтобы восстановить документы, которые в 1926 году взяли у него для обмена, пообещав прислать новые из Новосибирска, и не прислали. А 25 января 1970 года проживающий в Москве Яков Маркович Дворкин на голубоватом листе почтовой бумаги с брифкопфом, изображающим московский Большой театр, и текстом: «Здесь на различных съездах, конференциях, совещаниях более 30 раз выступал В. И. Ленин», — написал: «Дорогой Павел Исаевич, редакция газеты «Кузбасс» сообщила мне, что Вы посетили редакцию, очевидно, в связи с тем, что я сообщил в газете о Вас, старом партизане гражданской войны, проживающем в Кемерове. Отсюда я заключил, что вы живы и здоровы, что меня, Вашего товарища по секретному коридору Томской тюрьмы, очень радует. Очень хотелось бы узнать, установили ли Вам персональную пенсию...»

Теперь, когда рядом леги записи со слов В. П. Губкиной, автобиография Павла Губкина, официальный бланк «Кузбасса», письмо Я. М. Дворкина и донесение № 409, из-за строк не просто глядят на нас знакомые по старым фотографиям лица — они рассказывают. Юное лицо Ивана; сухоощавое, сосредоточенное Василия, сожженного заживо; Игнат

мчится обезглавленный на боевом коне; с боляющимися, как плеть, перебитыми руками ползет по тайге Павел Губкин...

Красный партизан Губкин получил персональную пенсию и дожид до глубокой старости. В семейных преданиях вечно молодыми остались его погибшие братья — Иван, Игнат, Василий, Александр. В Салтымакове есть братская могила. Не мешало бы проявить к ней куда большую заботу — там похоронены расстрелянные колчаковцами красные партизаны! И легко представить улицу Губкиных в Крапивине...

Документы уже собраны теперь воедино в Кемеровском краеведческом музее — так восстановлена одна из драматических и героических страниц истории края.

Не будь деревянного дома по улице Трудовой — не откликнулась бы на газетную статью Валентина Губкина, не стали бы пересматривать свои фондовые «закрома» музейщики. И не лежали бы сейчас рядом собранные из разных мест и в разное время документы, которые много лет находились друг от друга совсем недалеке и все же не составляли единого рассказа.

И не появилась бы, может быть, обстоятельная газетная публикация «Так воевали Губкины», подтверждающая еще раз воспоминания и рассказ Валентины Павловны. Не возник бы и общественный интерес к удивительной социально-активной династии Губкиных...

ОДА СТАРОМУ ДОМУ. Когда речь зашла о сохранении дома по улице Трудовой, необходимо было определить его историческую ценность и архитектурно-эстетическое достоинство, — но после рассказа Валентины Павловны какими мертвыми казались эти слова! Историческая ценность? Разве не доказана причастность дома к боевой и трудовой жизни многолюдной династии «чалдонов» Губкиных? Его архитектурная ценность в своеобразии поволжской «барской» архитектуры, переосмысленной на новой, сибирской почве. Кстати, бревна дома так крепки, что по рассказу жильцов, которые провели в нем полвека, при благоустройстве квартир «ни один инструмент с такими каменными балками не мог сладить — только искры летели!» Эстетическая ценность? Она в том, что дом сохранил для нас народное понимание красоты 120-летней давности! А народное понимание красоты безошибочно. И сейчас, по прошествии стольких лет, дом радует глаз лаконичным П-образным силуэтом и гармонией пропорций его двух флигелей. А если бы еще «галерейки, где столько чаев попито!..» А если еще и резные кружева наличников, отпечаток которых сохранился над окнами, если бы прежние карнизы «подзоры», ли-

тые флюгеры, что украшали деревянные шпиль мини-башенок, железные кружева дымоходов!.. И, оказывается, сохранились зеркала, резные тумбочки, вышивки и даже платья. Рады были бы Губкины, если бы родной дом был сохранен. Многие могли бы еще поведать о несгибаемом этом роде!..

Теперь, когда по прошествии трех лет старый дом постепенно приобретает свой былой облик и вот-вот вновь «обрастет» резными деревянными кружевами и вместит под своим уютным кровом Общество охраны памятников, кажется странным, что так дотошно нужно было выискивать малейшие «защепочки», которые на чаще весов жизни и смерти этого дома могли составить спасительную крупницу... Как много значения придавалось «именитому родству» — хотя бы предположительному — с академиком Губкиным, как недоверчиво взвешивалось каждое слово не только рассказа Валентины Павловны, но и автобиографии Павла Губкина — потому-де, что «память человеческая слаба, что-нибудь можно и напутать»... Как настаивал большой гостеприимный дом — сохранение его сулило нешуточные хлопоты, так что куда проще было апеллировать к сомнениям: «слишком уж дом велик, а не был ли Павел Губкин кулаком?» Обманчивые штампы восприятия напрочь затмили живую, огненную, в

семи кровях омытую биографию четырех поколений Губкиных, беглых крепостных, красных партизан, героев Великой Отечественной войны, коммунистов, великих тружеников.

Старый губкинский дом красив и крепок. Он готов служить людям еще не одно столетие. В память о крепостных Губкиных, отменных мастерах, в память о шести братьях партизанах Губкиных старый дом обращается к нам со справедливым назиданием: чтите корни свои!

Спасибо старому дому. Такова сила памятников и памятных мест, и неприметных на вид, еще «молчащих» старинных домов, которые тем не менее достойны сохранения и почитания. Именно они неожиданно развязывают цепную реакцию поиска и как бы притягивают забытые свидетельства былых событий и судеб, привлекают в свою орбиту все больше заинтересованных людей из славного племени энтузиастов. А значит — возжигают память!

Автор приносит благодарность всем, кто помог в сохранении старого дома, равно и в сборе необходимого материала для данной публикации — А. М. Васину, Л. В. Суховеевой, А. И. Мартынову; членам семьи Губкиных, работникам областного краеведческого музея; М. Г. Шербакову — зав. отделом пропаганды газеты «Кузбасс»; Н. Я. Козубовскому — автору статьи «Так воевали Губкины».

Василий Сиводедов

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ: ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Автор этих воспоминаний В. Т. Сиводедов жил в Кемерове. Василий Тимофеевич — земляк А. Т. Твардовского, был с ним в близких отношениях в годы юности. Встречался он с ним и в зрелые годы, долгое время состоял в переписке.

В воспоминаниях В. Т. Сиводедова, в приведенных письмах А. Т. Твардовского известный поэт раскрывается перед нами как человек нелегкой судьбы, способный горячо откликнуться на чужую беду, прийти на помощь другу.

Прежде чем предложить эти воспоминания вниманию читателей, мы ознакомили с ними вдову поэта М. И. Твардовскую. Мария Илларионовна рекомендовала их к печати.

После длительного отсутствия в июне 1955 года я, наконец, оказался в Москве. Вопрос о том, следует ли предпринять попытку

встретиться с А. Т. Твардовским, первое мое знакомство с которым состоялось осенью 1923 года, решил благодаря вмешательству

моего брата, Г. Т. Сиводедова. Он как-то додумался сообщить Александру Трифоновичу, что 25 апреля 1955 года мне исполняется 50 лет, что я возвратился к своей прежней специальности, веду оседлый образ жизни.

Примерно за полмесяца до дня моего рождения я получил письмо. Привожу его целиком, оно, как мне кажется, не нуждается в комментариях.

«Москва, 7.4.55.

Дорогой Василий Тимофеевич!

Твой брат, с которым я изредка встречаюсь и переписываюсь, сообщил мне все о тебе, твой нынешний адрес, а также то, что тебе нынче исполняется 50 лет.

Трудно вдруг найти верные и вполне подходящие слова по этому поводу, обращаясь к человеку, с которым встречался около четверти века назад. Но так или иначе, а я решил написать тебе, поздравить тебя сердечно с этой датой и пожелать тебе во второй полсотне лет всего того, чего ты желал бы себе. Я тоже недалеко от этой черты, мне 45, разница вовсе невелика, а когда тебе будет 105, а мне 100, будет еще меньше.

Шутка шуткой, а действительно когда-то эта разница была очень значительна, когда я был совсем зеленым, а ты уже взрослым человеком, студентом и т. п.

Не могу забыть твоего доброго отношения ко мне в давние времена моей ранней юности. Был бы рад получить от тебя какой-нибудь отзвук и, насколько это в моих силах, быть полезным тебе.

Напиши, как живешь, как здоровье, женат ли (я уже выдал дочь замуж), читаешь ли: то есть имеешь ли возможность читать, словом, обо всем, что тебе хочется написать.

Итак, пусть это письмецо будет тебе знаком моей доброй памяти о наших юношеских встречах, моим сердечным приветом в день твоего пятидесятилетия. Пиши.

Крепко жму руку.

А. Твардовский.»

Людам моей судьбы противопоказаны сантименты, тем более слезы, а я вот, читая это письмо, рыдал, как мальчишка, и ничего не мог с собой поделать.

Да что там говорить... Не получи я этой весточки — я не посмел бы напомнить о себе тому, кто ее послал.

С волнением перечитывал я то место в письме, где Александр Трифонович писал: «Не могу забыть твоего доброго отношения ко мне в давние времена моей ранней юности». Лестное для меня мнение, но, без ложной скромности: в те далекие годы я относился к юному Саше как к большинству ребят моего окружения, не предполагая, конечно, кем он станет в будущем.

Итак, я собрался в столицу. До Тайшета ехал по железной дороге, еще находившейся во временной эксплуатации. На станции Тайга удалось достать место в плацкартный вагон. До Москвы добрался без осложнений.

Земляки приняли меня с трогательной любовью. Жили они в полуподвале двухэтажного дома. Мне предоставили, как принято у нас, смолян, красный угол.

А вскоре я повидался с тем, память о ком незабвенна и свята. Встретились мы тепло, сердечно. О чем бы ни говорили, создавалось впечатление: долгие годы разлуки не сумели разрушить того, что заронила в наши сердца юношеская дружба.

При расставании мне было презентовано 2-е издание двухтомника с дарственной надписью: «Василию Тимофеевичу Сиводедову в память юношеских встреч. А. Твардовский. 12.6.55».

Долго задерживаться в Москве я не мог. Я ведь находился здесь не по командировочному удостоверению, когда автоматически накручиваются суточные. Мне нужно было думать о семье, а значит, и о работе, я двинулся на восток, в Новокузнецк (тогда еще Сталинск), где был расположен трест, в подразделении которого я работал раньше.

Меня без всяких осложнений приняли в управление, занятое строительством железнодорожного рудника и поселка Абаза.

Из Абазы возобновилась переписка с поэтом.

Не помню, говорил ли я Твардовскому при встрече в Москве о намерении обзавестись собственным жильем, но 19 ноября 1955 года он выслал по моему абазинскому адресу

пять тысяч рублей. На бланке для перевода было написано: «Дорогой Василий Тимофеевич! Высылаю пять тысяч, буду рад, если они помогут тебе организовать оседлость. Уведомь о получении и о делах. А. Т.»

Заботы о моем устройстве в жизни не оставляют его. В письме от 19 сентября 1956 года он пишет:

«Дорогой Василий Тимофеевич!

Я тебе не отписывал по причине длительного моего отсутствия, был на Ангаре, потом немного отдыхал, почты набралось много, — страшно было приступить к ней.

Самым существенным вопросом в твоих делах мне представляется вопрос о жилье. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, еще более существенным является вопрос о реабилитации? Но ведь, как говорится, терпел ты больше, а уж теперь надо потерпеть, неустанно подталкивая это дело. Заведи исходящий журнал и заноси в него номера бумаг, отправляемых по инстанциям. Стучи, и отвернется. Больше ничего не могу сказать об этом, кроме того, что и Москва полна таких дел, незавершенных, недоделанных, а, следовательно, это беда, понятная всем, не та, которая ставит в положение исключительного одиночества в беде, — все всем понятно.

Теперь так, если работа и местность тебе по-прежнему по душе и если ты не оставил думы насчет приобретения хижинки, то скажи, устроит ли тебя добавка, равная первоначально посланной тебе сумме. Если устроит, пришло. Если ты вообще там не прижился, то не насилуй себя, махни куда-нибудь еще. Только не советую, по некоторым наблюдениям, кидаться на самые сенсационные «модные» стройки, вроде Братской ГРЭС, — там народу тьма, с жильем караул и т. п.

Словом, что же тебя учить, сам с усам, тебе все виднее. Обдумай все и напиши мне. Желаю всего доброго, особенно хорошего настроения.

Я живу трудно, малопродуктивно, все лето не писал. Кажется, запрягут меня опять в журнальный хомут.

Привет твоей семье!

А. Твардовский».

Конечно же, от повторного перевода на приобретение жилья я отказался — в том смысле, что не попросил о его высылке.

Я пишу то, что думаю о том или ином предмете, кроме тех случаев, когда молчание — не золото, а дороже золота. Больше всего опасаясь, что меня обвинят в стремлении погреться в лучах славы поэта. Поэтому, публикуя письма Твардовского ко мне, я предоставляю ему самому характеризовать наши отношения.

В 1957 году я был реабилитирован. Целиком привожу письмо Александра Трифоновича, связанное с этим событием.

«Дорогой Василий Тимофеевич!

Прежде всего, горячо поздравляю тебя с полной реабилитацией! Я очень рад за тебя. Пусть с некоторым запозданием, но это совершилось. Нетрудно понять, что одно дело «отбыл» или даже «амнистирован» — совсем, совсем другое — «не виновен». Очень хорошо, что у тебя нашлись силы, воля к тому, чтобы довести эти дела до необходимого конца, хотя я способен представить, как это мучительно и тяжело.

Рад я также и тому, что ты начал вклиниваться в жизнь по линии корреспондирования в газетах. Полагаю, что это вернейшая ниточка, тот кончик, ухватившись за который ты еще сможешь устроить свою судьбу по собственному вкусу. Это ближайший путь. Не остывай, не огорчайся, продолжай это дело. Поскольку я тебя знаю, ты способен быстро освоиться в этой области (ведь ты, помнится, писал в смоленских газетах), правда, ко многому иному, чем когда-то, нужно привыкать, но это дело вполне живое.

Что касается моего здоровья, то, слава богу, оно как будто в порядке. Давление бывает, но лишь в связи с внешними воздействиями: неприятностями, выпивкой (ее все более остерегаюсь), а так, если все хорошо, то и нормально. Лечу нервишки, и то не порошками и микстурой, а специальным водолечением, принимаю через день родоновы (что это означает, я не твердо знаю, но, кажется, радиоактивность) ванны, и, кажется, на пользу.

Тебя удивляет, что моего имени ты не нашел в проспектах журналов на 1957 год. Это

объясняется тем, что я давно уже уклоняюсь от дачи показаний по вопросу «над чем работаю» и т. п. деклараций, как-то это мне не по душе. Вот и все. Правда, и работал я в истекшем году мало — по разным причинам... Осенью пошла была работа, но тут общеизвестные события лишили необходимой сосредоточенности, выбили из колеи. Теперь вновь вхожу в нее. Что будет — увидишь.

Корреспонденция твоя писана дельно, без пустословия, дежурной фразеологии — берет быка за рога, поскольку это возможно. Словом, перо журналиста у тебя в руках... Пиши. Всего доброго.

А. Твардовский
14 февраля 1957 г.»

Это письмо, как и последующее, не нуждается в комментариях.

Но обратимся к письму от 11 января 1958 года.

«Дорогой Василий Тимофеевич!

Письмо твое переслали мне сюда, где я нахожусь уже около месяца с женой и дочерью (младшей) в литфондовском Доме творчества, огромном, почти пустом, отстроенном только в 56-м году. Внешне и внутренне он носит на себе еще следы архитектурных излишеств и украшательства, но отражает и воспоследовавшие общие указания и установки в борьбе против излишних расходов, так что, например, форточек в окнах нет (это пережиток), а фрамуги забиты гвоздями наглухо и т. д. Правда, все это в условиях ялтинского климата не доставляет особых хлопот, я, например, сплю с открытой на балкон дверью. А в остальном все хорошо: малоллюдно, тихо, отдаленно, никаких отчетно-выборных собраний пока еще нет — и то благо.

Одноминутник я тебе послал не для того, чтобы «отделаться» — это не в моих интересах в данном случае, так как я действительно собираюсь по теплым дням в очередную поездку по Сибири и, пользуясь твоим приглашением, готов завернуть в Кемерово. Будет это примерно во второй половине мая. Берегись.

Здесь я живу хорошо. Труджусь по-маленьку, веду научный образ жизни, т. е. не пью водки, не сижу на заседаниях и т. д. Домашние

мои тоже чувствуют себя здесь хорошо, — отчасти из-за них я сюда и направился: жена должна была уже лечиться в больницу (сердечно-сосудистые дела), дочь имеет отпуск в школе по состоянию здоровья — доходило уже до того, что она болела больше в году, чем занималась в школе. Вот вкратце мои дела.

Что ты придаешься унынию, — я думаю, что это просто следствие огромного нервного и иного переутомления, и нужно тебе, по устройству и налаживанию дел, просто отдохнуть, побыть, как говорят, на травке.

Итак, до теплых дней. Если не полениться, напиши мне сюда, я тут еще задержусь на месяц. Желаю всего доброго.

А. Твардовский».

Наша встреча в Кемерово не состоялась по причинам, изложенным в нижеследующем письме от 7 мая 1958 года.

«Дорогой Василий Тимофеевич!

Обстоятельства складываются таким образом, что я, к великому сожалению, не могу сказать с точностью, когда поеду в Сибирь, во всяком случае, не ранее августа — сентября. А будет ли у меня возможность заезда в Кемерово — тем более затрудняюсь сказать. Дело в том, что мне предложено вновь надеть старый хомут — принять «Новый мир», — от которого (хомута) я порядочно отвык и не без страха помышляю о том, что ждет меня.

Но деваться некуда, не тот случай, когда я мог ответить отказом, как я это делал в других случаях. Словом, человек предполагает, а бог располагает. Очень завален работой, вернее, всяческим рукописным и иным хламом.

Этим, между прочим, объясняется крайняя краткость моего письма.

Желаю всего доброго, привет твоей семье.

А. Твардовский».

А вот и последнее письмо от 23 июля 1960 года.

«Дорогой Василий Тимофеевич!

Не сетуй, пожалуйста, что отвечаю на твое душевное и во всех смыслах хорошее и правильное письмо с таким запозданием. Сразу

после появления «глав» в «Правде» хлынула такая почта, что «своих» уже пришлось оставить в ожидании, а хоть кое-как (один примерно к 25) отозваться на письма «дальних».

К этому можешь прибавить обычную мою, всевозрастающую загруженность да 50-летие, дату которого я отнюдь не стремился ускорить, — словом, только сегодня собрался выслать тебе эти строки и книжку* (полную) «Далей».

Был у меня Георгий, брат твой, прогромыхал на родину, а по пути оттуда только позвонил, спасибо — исправил отчество Коваленок белохолмских в моей речи на учительском съезде. Речь была не писанная, а это, при всех преимуществах непосредственного выражения, всегда влечет за собой возможность оговорок, упущений и т. д.

Я в отпуске. Завтра-послезавтра уеду с семьей подальше от столицы, ибо она и на даче донимает не только шумом, грохотом и завываниями аэропорта поблизости, но и иными раздражающими воздействиями.

Желаю тебе всего самого доброго. Здоровья! Остальное, как говорится, приложится. Привет семейству!

А. Твардовский.

Действительно, одновременно с этим письмом я получил бандероль с «Далями». Дарственная надпись гласит: «Василию Тимофеевичу Сиводедову, человеку трудной судьбы и больших возможностей — в память нашей юности. А. Твардовский. 23 июля, 60. М.».

Я ни разу не спрашивал, Александр Трифонович не сообщил, о ком непосредственно написана глава этой поэмы — «Друг детства». Не спрашивал потому, что считал подобный интерес нескромным, хотя в разговоре при первой встрече в Москве поэт и обронил фразу, что напишет обо мне. Вероятно, обещание, данное тогда, послужило лишь оправданным моментом. А речь тут идет не о каком-то конкретном человеке, а о многих людях моей судьбы. Именно так мы и воспринимали «Друга детства». Стихи поэта укрепляли нас внутренне, вселяли в каждого добрую надежду. И за это ему наше большое, искреннее спасибо!

К сказанному могу добавить, что есть у меня экземпляр «Далей» и с таким автографом Александра Трифоновича: «Одному из друзей детства В. Т. Сиводедову — от автора.

А. Твардовский.

19.12.61.М.»

Я начал свои воспоминания с конца — сослался на документы, которые говорят о том, что какое-то отношение к Александру Трифоновичу на одном из ранних этапов его жизни я имел и что наши кратковременные личные контакты оставили след в его памяти. Однако никакого целенаправленного воздействия на юного поэта с моей стороны не было и не могло быть. Мы просто несколько месяцев варились, что называется, в одном и том же котле и, волей или неволей, как-то влияли друг на друга. Вот и все. И если Александр Трифонович тепло отозвался обо мне, то я в этом совершенно не виноват.

Прежде чем приступить к событиям зимы 1923/24 годов, скажу вот о чем. Когда при встрече с поэтом в 1955 году я заявил о своем намерении написать нечто мемуарообразное о Белом Холме, к моему удивлению, Твардовский отнесся к этому намерению, в лучшем случае, безразлично. Просто он от молчался.

Позднее, когда я ознакомился с трактатом П. С. Выходцева, который проследил, казалось бы, все этапы жизни поэта, начиная от рождения, я, с еще большим недоумением отметил, что здесь даже нет упоминания о пребывании юного Твардовского в Белохолмской школе. Я придаю исключительно важное значение времени, когда будущий поэт находился в этом самобытном коллективе. Для меня представляется бесспорным, что именно в Белохолмской школе Саша Твардовский вырвался из клещей хуторской ограниченности и сделал, может быть, самый решающий шаг в своей жизни — вступил в комсомол!

Помнится первая встреча с А. Т. Твардовским.

Я вышел после уроков из школы и хотел направиться к нашей с братом квартире. В это время ко мне подошел явно не крестьянской внешности стройный паренек и обратил-

ся со следующими словами: «Товарищ Сиводедов, я пишу стихи. Очень прошу вас посмотреть и высказать свое мнение».

Необычайность вида этого мальчика, правдивость, хотя и некоторая книжность речи, а главное, полное отсутствие мужицкой приниженности, с одной стороны, и напускной наглости, маскирующей ту же мужицкую приниженность, с другой стороны, привлекли мое внимание.

«Ну, что же,—сказал я,—пойдем в парк». Юный автор держал в руках свернутую трубочкой тетрадку. Мы выбрали защищенное от нескромного глаза местечко, уселись. Саша начал читать.

Было бы домыслом с моей стороны утверждать сейчас, чему посвящались первые творческие опыты, но они подкупали естественностью и простотой, без заумных словечек и выражений. Стихи я воспринял без «ахов» и «охов», но похвалил юного поэта и просил заходить ко мне, когда он захочет. Тут же заранее извинился и предупредил, что я не всегда смогу уделить ему максимум внимания из-за большой загруженности общественными делами.

Как в ту пору выглядел Саша? Одет он был скромно, но, по тогдашним представлениям, вполне прилично. На нем была гимнастерка с нагрудными карманами, защитного цвета. На брюках были отчетливо видны следы утюжной глажки. Обут он был в ботинки, которые в наших местах назывались «бульдо».

...Дело шло к осенним заморозкам. И тут я понял, какую допустил ошибку, поселившись в здании церкви, в однокомнатной квартирке, предназначавшейся, вероятно, для церковного сторожа. В этом проклятом холодильнике я ухитрился схватить ангину. На воскресенье не смог пойти домой. За продуктами отправился брат, но где-то запропастил ся.

Долго страдал бы я от холода да от голода, если бы не заглянул вдруг ко мне Саша Твардовский. Без лишнего слов он где-то раздобыл дровишек, растопил плиту и приготовил чай (кипяток, конечно). Потом вытащил из сумки свои продуктовые запасы на неде-

лю и зажарил отличное (деревенского засола) свиное сало. У нас, смолян, соленое сало всегда считалось закуской люкс. Заморив червячка, побаловавшись кипятком с сахарным и ощутив тепло в комнате, я понял, что еще не все потеряно. Мой спаситель делал все молча, как само собой разумеющееся, патетических излияний не любил. А для меня его молчание было красноречивее самых горячих речей.

Являясь ответственным секретарем комсомольской ячейки, представителем комсомола в школьном совете, я был всегда очень занят. И только изредка принимал участие в шумных беседах нашего коллектива, возникших обычно перед сном. Саша Твардовский не то чтобы активно участвовал в этих беседах, но всегда внимательно прислушивался к сути спора. Иногда он обращался ко мне, и я на правах старшего и более «умудренного» жизненным опытом удовлетворял его любопытство.

Еще до наступления зимы (отлично помню, как мы шлепали по грязи) я был приглашен Сашей на воскресные погостить в доме его родителей. Добрались мы до хутора Твардовского под вечер. Внешне хутор ничем не отличался от обычных крестьянских построек такого типа. Хата одиноко торчала на бугре, и даже не было традиционного крестьянского украшения — крытого крыльца.

Никто из братьев и сестер Саши не остался в моей памяти. Но запечатлелся образ Марии Митрофановны — матери поэта. За простой внешностью Марии Митрофановны угадывалась тонкая духовная натура. Ей было около сорока лет, но она была по-девически красива и стройна.

...Закончился учебный год, закончились и наши с Сашей Твардовским контакты. В дальнейшем были лишь эпизодические встречи.

В январе 1925 года, когда я работал секретарем Балутинского волкома комсомола, совершенно неожиданно мне передали, что в доме моего отца, с которым я не поддерживал никаких отношений, какое-то время жил Саша.

Первая личная встреча с ним после того, как я закончил Белохолмскую школу, состоя-

лась в Смоленске на губернском рабсельковском совещании.

Хорошо помню приезд Саши в столицу в 1929 году, когда я учился в первом МГУ. Он несколько дней прожил у меня в общежитии. А потом снял себе отдельную комнату в Козицком же переулке, почти рядом с нашим студенческим общежитием, только на противоположной стороне переулки и на одном дом ближе к Тверской улице (теперь улица Горького).

Его можно было видеть в редакциях «Красной Нови», «Огонька», «Прожектора». Поэт с интересом рассказывал о встрече с Ефимом Зозулей. Шла речь и о посещении им радиокомитета, о включении в программу радиопередач его оратории. В это время Александр Трифонович плодотворно работал. Помню, чем-то затронуло стихотворение «Докладчик», особенно вот эти строки о человеке, который выглядел

«...Усталым и чуть-чуть больным,
Но для провинции великим».

Как-то мы с Сашей навестили поэта Ивана Молчанова. Любезный хозяин угостил нас холодным пивом из погреба и воблой. Потом пригласил на пляж в Фили. Как бы между делом он сообщил, что здесь мы встретим целую обойму поэтов. И действительно, там загорали почти все комсомольские поэты. Впервые в такой непосредственной близости я увидел томного красавца И. Уткина, толстяка Джека Алтаузена, патриарха комсомольских поэтов А. Жарова.

Июнь 1981 г., Кемерово

...Начиная с 1964 года переписка с Александром Трифоновичем становится все реже и лаконичнее. Так, перед новым годом он прислал поздравление: «Дорогой Василий Тимофеевич! Вместе с новогодним приветом и пожеланиями всяческого добра выражаю полную боевую готовность подтвердить все, что потребуется тебе в связи с переходом на стариковский бюджет. Желаю тебе на этом бюджете жить долго и продуктивно. Будь здоров и по возможности счастлив!

А. Твардовский.»

В 1965 году поэт подарил мне свою фотографию, а через два года книжку «Из лирики этих лет» с автографом: «В память нашей юности. А. Твардовский».

Сократились и мои поездки в Москву, которые всегда были приятны возможностью поговорить с поэтом по душам.

Последнее мое письмо к нему — поздравление с шестидесятилетием.

...На книжке поэм, предназначенных для школьных библиотек, 26 августа 1970 года Александр Трифонович написал:

«Василию Тимофеевичу Сиводедову.

Спасибо, старик,— как и я не в шутку, всерьез — старик.

«Ино еще побредем» (Аввакум)».

А. Твардовский.»

Бережно храню я все, что связано с памятью выдающегося лирика, замечательного гражданина земли русской, которого мне посчастливилось знать близко.



Геннадий Естамонов

ТРИ СЕСТРЫ

Мне понравилась идея Геннадия Юрова, поэта и публициста, рассказать на страницах периодической печати о речках Кузбасса. А так как почти все реки нашей области впадают в Томь, может получиться большой рассказ о нашей главной реке. Этот рассказ будет тем полнее, чем больше читателей: школьников, студентов, рабочих и инженеров, ученых и педагогов — всех, кто любит природу, примет в нем участие. Ведь у каждого из нас есть своя речка, чем-то особенная, любимая, которую мы часто вспоминаем, знаем о ней такое, что не знают другие.

У трех правобережных притоков Томи в Крапивинском районе, Змеинки, Заломной и Грязной, как и у родных сестер, много общего. Деревни, стоящие в устьях рек, — соседи. От Ивановки, что у Заломной, до Змеинки и Усть-Грязной пять километров — хоть в ту, хоть в другую сторону. Раньше, как мне кажется, люди селились так, чтобы не мешать друг другу, не надоедать, но и не быть в одиночестве. Пора конной тяги отвечала этому как нельзя лучше. Зимой на санях, летом на телеге через полчаса ты в другой деревне. Не в столице побывал, не в губернии, а все-таки...

Вблизи каждой деревни большие острова на Томи. Какой бы год ни выдался, а травы на пойменных островах всегда встанут. А се-но есть — есть и молоко.

Когда я бываю в деревнях, мне очень хочется представить первых поселенцев, отгадать, что их привело сюда. Почему они выбрали именно это место, а не другое и как тогда все это было! Странное желание, но оно не покидает меня, и порой бывает грустно, что нет уже многих деревень, как, например, Усть-Грязной. Она осталась лишь в старых картах лесничества. Почему-то кажется, что люди, те самые первые, ошиблись в выборе места. Не здесь надо было начинать...

Потихоньку хиреет деревня Змеинка, все меньше народу в Ивановке — несколько лет

назад закрылась школа, давно не слышно голосистого самодеятельного хора...

Но если в силу различных обстоятельств деревни уходят, то речки, давшие им жизнь или же сыгравшие в этом какую-то роль, должны оставаться чистыми и незамутненными, а не исчезать или превращаться в сточные канавы, как Искитимка в Кемерове, Аба в Новокузнецке, Кача в Красноярске и многие другие речки больших городов.

На карте нашей области река Заломная малоприметным изогнутым гвоздиком воткнулась в Томь у деревни Ивановка. От устья, которое можно перейти в летнее время, не замочив колен, до истока Заломной по прямой чуть больше шестидесяти километров, но речка делает петли и так заламывает их, что, стоя в одном месте, можно видеть, как она течет в двух противоположных направлениях. От Ивановки до деревни Комаровка полчаса ходьбы, но, чтобы пройти это расстояние вдоль русла, не хватит и двух часов. Пробираешься летом по заросшему берегу, нацепляешь паутины, упаришься, сделав огромный крюк, а осмотришься и сам себе не веришь — напрямик полста метров не будет.

А речка сверкает солнечными зайчиками, журчит на перекатах, и кажется, что она смеется над своей невинной шуткой.

Деревья и кустарники нависают над рекой, некоторые, подмытые ею, падают на другой берег, образуя своеобразные мостики. Половодье очищает русло, изменяет его порой до неузнаваемости, и бывает трудно угадать, где ты был прошлым летом.

Весной Заломная широкая, быстрая, летом же тихая, почти неподвижная, особенно в полуденный зной: какая-то задумчиво-усталая река.

В свое время по Заломной велся молевой сплав леса, и напоминают об этом топляки, лежащие на дне, как огромные уснувшие рыбыны, или же вкрявь и вкось, будто сваи старых мостов, вмытые в берега. Сейчас река

отдыхает, и редкий всплеск потревожит ее покой. Только ближе к вечеру плесы наполняются серебряными бликами играющей рыбы. Но такая отрадная картина бывает только весной или в начале лета, когда рыба идет на нерест и гуляет после него. Позже она скатывается в Томь; если же остается, то в самых глубоких омутах и глухих таежных притоках. А причиной тому не только мелководье реки в жаркие дни лета, но и самое беспардонное браконьерство — река на многих километрах опутана «заездками» (так называют перегородки поперек течения с кошелем для поимки рыбы). Рыба, не успевшая уйти с большой водой, рано или поздно попадает в ненасытные «морды». Перегородки делают из ивовых прутьев, кольев, камней, а в последнее время — из металлической сетки, наподобие той, которой огораживают клетки в зверинцах. Такие «заездки» препятствуют свободной миграции тайменя, ленка, хариуса, щуки и другой рыбы, а коль так, ее все меньше и меньше в Заломной, а соответственно и в Томе.

Примерно на полпути к Комаровке лежит Желтый Яр — так называют левый берег реки, нависающий здесь 50—60-метровым гравийно-песчаным обрывом. Отсюда лента реки смотрится как с птичьего полета. Впереди лежит черневая, почти нетронутая тайга, с резкими сочно-зелеными шапками кедров, с седой зеленью высоких осокорей, с таинственным сумраком елей и пихт, а внизу, будто под стеклом в аквариуме, плавают в омутах рыба. Здесь тайменный плес. Три-четыре тайменя заселяют его каждое лето. Как они умудряются пройти «заездки», остается загадкой. Мудрые существа. Сколько я ни бросал блесну, но обмануть хотя бы одного не удавалось мне. Если и погонится таймень за блесной, то держится на таком расстоянии, чтобы даже случайно не зацепиться. Посмотри на заманчивую любопытную штуковину, вильнет красным оперением хвоста и уйдет в глубину. Хлещешь спиннингом речку вдоль и поперек до тех пор, пока не начинаешь думать, что таймени, наверное, усмеваются, наблюдая за тобой из своих подводных укрытий.

У Заломной много мелких безымянных притоков и только четыре больших. Справа в низовье впадает река Якимовка, а в верховье — Мягкая; левые притоки — Мунашкина и Каменушка. В них нерестятся и живут таймень, ленок, хариус. У притоков этих глубокие плесы, скорее не плесы, а омуты. Есть где разгуляться даже тайменям, ну а ленку и хариусу здесь приволье. Много мелкой рыбы: гальяна, пескаря, ельца, чебака, и всем хватает корма, который падает с нависших кус-

тарников и деревьев, порой образующих зеленый коридор.

С деревенским пареньком Колей Ивановым мы целый день добрались до речки Мунашкиной — самого большого левого притока Заломной. Тучи комарья и оводов висели над нами, пекло солнце, а мой молодой спутник только улыбался, невозмутимо пробираясь через таежные завалы и толстые лощины. У меня пропало сначала предчувствие удачи, а потом и само желание рыбалки. «Пусть они себе плавают, — думал я, спотыкаясь и падая, — и таймени, и хариусы, и кто там еще...» Потом мне стало казаться, что мы заблудились, и я стал надоедать своему проводнику: «Правильно ли мы идем?»

Шли правильно. Под вечер вышли к Заломной, и горная лесная жительница предстала здесь во всем великолепии. В широкой ложбине золотилась река, к ней с правого берега подступили вплотную огромные и раскидистые, словно зеленые шатры, ели. Там был сумрак, и оттуда шла ночь. На левом, более высоком берегу, где мы стояли, вздымались высоченные сосны, и освещенные заходящим солнцем деревья выглядели празднично и нарядно. На одной стороне — почти ночь, на другой — день. А на золотистой глади реки, как на раскаленной сковородке, яростно прыгали серебристые рыбины. Они вспарывали литую поверхность, сверкали в лучах солнца и с громким веселым шлепаньем уходили под воду.

Ночью шел мелкий и нудный дождь. Я подбрасывал в костер валежины, а мой спутник, укрывшись плащом, спал сном праведника.

В глубокой темени, легко перекрывая шест дождя, всю ночь, как ошалевшие от хмеля, пели соловьи. Они, не обращая внимания на свет костра, выводили такие звонкие и долгие рулады, что становилось даже боязно за них — сорвут же, черти, голоса. Но опасался я зря — то были классные певцы, хотя и жили в глухой «провинции». Другие птицы, словно стыдясь, давно замолкли.

Утром мы покинули берег Заломной и направились вверх по Мунашкиной. Но не прошли и ста метров, как я остановился пораженный. В самом узком месте реки ее перегородивала металлическая сетка, метров двух высотой и около двадцати длиной.

— Что это! — спросил я у Коли, хотя и сам уже догадывался о назначении загона.

Он грустно усмехнулся:

— Недалеко пасека Банновского совхоза.

— Ну и что!

— Что, что! — Сердито ругнулся. — Местный пасечник так ловит тайменей. Вода падает, а рыба вся остается за сеткой. Вот видишь. — Он показал на удобное сиденье с навесом у

дерева.— Тут и пасет пасечник, с ружьем и острой, тайменей ножами, когда они подходят к сетке.

— А что, никто об этом не знает!

— Все знают. Так он же здесь хозяин. Страшнее всякого медведя. Что хочет, то и делает. «Заездок» ниже по Заломной тоже его. Ему мало этой рыбы, так еще прихватывает ту, что с верховьев Заломной идет.

Я вспомнил еще, как на одной из петель Заломной мы встретили однажды недостроенный бобровый дом. Две осины, сваленные бобрами с противоположных берегов, перегородили речку, но так и не стали бобровой плотиной — кто-то, может быть, вот такой же «пасечник», их спугнул, а может, и «добыл». Бобры могли прийти с соседней речки Грязной, где их несколько лет назад выпустили и они прижились.

А если бы на Заломной прижились бобры, то со временем они могли расселиться на реках Барзас, Северный Кожух, Змеинка, Белая, Золотой Китат. Ведь перекопывала к нам норка, живет ночная гостья — выдра, прижился баргузинский соболь, много ондатры, а ее тоже в пятидесятых годах завезли в нашу область и, кстати сказать, расселили вначале в Крапивинском районе. Река — это не только место обитания рыб, но и дорога жизни всех животных. И жизнь эта тем полнее, чем безопаснее река.

Однажды весной я рыбачил на втором плесе, метрах в пятистах от крайнего домика Ивановки. Улелек, сиюх возле слома большого дерева, бросаю удочку. Тихо, только где-то вдалеке приглушенно звучит:

— Зорька, Зорька!

На той стороне затрещали кусты. Я подумал: «Зорьку кличет там, а она здесь лазает». Поднимаю голову... Чуть в стороне стоит лось. Он словно прислушивается к зову. Я замер, так близко никогда не приходилось видеть сохатого на воле. Он зашел на середину реки и долго тянул воду. Фыркал. Я, видимо, шевельнулся, зверь поднял голову, и наши глаза встретились. Лось внимательно глядел на меня, ноздри его подрагивали. Потом, не теряя достоинства, он большим махом выскочил на берег рядом со мной и ушел в лес.

Правобережье у деревни Ивановки, а вернее участок между речками Заломной и Грязной, местные жители называют «таежиной». Здесь и вправду настоящая тайга, вплотную подступившая к Томи. Ель, пихта, осины и тополя прячут от глаз редкие кедр. Когда-то, говорят, кедрач в этих местах главенствовал, но его постепенно вырубали, остались только отдельные красавцы, да подрастают небольшие семейки молодняка. В таежине растет колба, а на болоте можно встретить редкие рубины клюквы. В подлеске много черему-

хи, красной и черной смородины, малины, а к концу лета здесь много грибов, особенно опят.

На озерах и болотах селится утка, плодится ондатра, а пристающие к берегу лодки частенько погромыхивают выстрелами, даже в весеннее время. Раздается и современный «топор дровосека». Местное лесничество ведет так называемую рубку ухода почему-то в непосредственной близости от Томи. И на берегу тихонько растут срубы бань, домиков и домов. Это одна из статей доходов лесничества. В этом году оно опять перевыполнило план по рубке ухода. И вдоль Заломной, рядом с деревней, почти сплошные пеньки...

В пятидесятых годах на территории между Грязной и Змеинкой, которую геологи называли «Заломенской площадью», велись поиски нефти. Нефть не нашли, но следы работ остались: многие скважины не закрыты, и хорошо, если из них бьют фонтаны родниковой воды, плохо, когда выделяются различные смоло-нефтеподобные примеси. Образуются болотца с неприятным запахом и радужным слоем на поверхности. Столько сейчас таких радужных пятен на Томи! Застрахована ли от этого хрустальная вода Заломной!..

Примерно в пяти километрах вниз по течению от устья Заломной в протоку Томи впадает неприметная речушка. Летом протока пересыхает, и речка совсем прячется от людских глаз.

Лет пятнадцать назад привез меня сюда мой товарищ, обещая хорошую рыбалку. Было начало лета. Светлела вода в Томи после весеннего паводка, отцветала черемуха, густо посыпая землю лепестками. Зеленела молодая трава; вишневыми, синими, сиреневыми мазками светились стайки медуниц и легкие звездочки кандыков. Аромат приречного леса был опьяняющим, краски неба — неуловимыми. Столько кругом света и тепла!..

Речушка же у моих ног была грязной и унылой. Облезлые глинистые берега — как стены старого дома, коряги в мутной воде, на ветлах, густо разросшихся кругом, висели, будто изодранные сети в заброшенном сарае, речные наносы из прошлогодней травы, ветошь и прочего лесного мусора.

— Слушай, — сказал я своему товарищу, — не надо мне отличной рыбалки. Давай сматывать отсюда удочки, пока не размотали...

Он молча согласился со мной. Видно, и на него подействовали уныние реки, тишина и безмолвие.

Подойдя к лодке, я поинтересовался:

— Как называется-то?

— Грязная...

Удачнее названия не придумаешь.

Но я ошибся. Ошибся и тот, кто, видимо, в весенний разлив дал речке это название. Грязная — речка особая. Ее знают все, кто увлекается зимним ловом.

В первые холода, когда лед на реках еще тонок, как оконное стекло, неугомонное, самое морозостойчивое племя рыбаков-подледников отправляется в путь. Ждать неготову. Давно опробованы мормышки заводские и собственного изготовления, в домашних лабораториях: ведрах, тазах, ваннах. Отлажена их «игра» — способность особенно заманчиво колебаться, крутиться и вращаться в воде...

Но что играет в ванне, может не «сыграть» в водоеме. Главное — проверить в деле. Вот и «ползут» подледники, как подкрадываются, по прогибающемуся ледку, прихвотив для надежности пару дощечек, кусок пенопласта, корочку, все то, что не сразу тонет...

А когда ударят морозы и лед покрепчает настолько, что на нем плясать можно, когда сбита уже первая охота на ближайших водоемах, рыбаки отправляются в «дальние» странствия, к заветным местам. Таким заветным местом для многих подледников стала Грязная. Чуть свет садятся они в рейсовый автобус, коротая путь до Банновского совхоза — кто в дреме, кто в рассказах о добычливой рыбалке. А потом пешком — двенадцать километров...

Чебак здесь берет отборный. Крупный, как селедка, и жирный, как свинья тушенка, выкормленный на панировочных сухарях, на пшенной и перловой каше, приправленной разными снадобьями, начиная от подсолнечного и конопляного масла и кончая фруктовой эссенцией и растворимым кофе.

Один изобретатель прикорма и заядлый подледник рассказывал, что однажды пробовал добавить в приваду «кропу» — укропное масло. У жены из домашних запасов взял. Рыба клевала фантастически!

Выходит, рыба в Грязной — золотая.

Лед на речке, как сыр в дырках, или же, когда морозы крепче, в наплывах, будто сливки на замороженном молоке. И в метели, и в бураны «колдуют» рыбаки, всяк по-своему, над маленькой лункой, укрываясь от непогоды мини-палатками собственного изобретения. Удивляешься такому терпению, постоянству, влечению — как хочешь назови, а корень-то в одном — в любви к природе, к маленькой речушке, к ветлам на ее берегу, которые гремят и скрипят под напором ветра, будто старая деревенская телега.

Я люблю рыбаков-подледников за дружбу, щедрость, за веселые побасенки, за умение не унывать и надеяться на удачу. И тем более вначале показались неправдоподобными жалобы на них пасечника-пенсионера, участни-

ка войны, Алексея Титовича Чугаева. Однако же он прав: каждую зиму устраивают «рыбаки» погромы.

Природа — открытый дом. Заходи, будь гостем и хозяином. Все в твоём распоряжении. Зачем же превращать ее в хлев... В этом году взломали даже омшаник. Поморозили пчел в нескольких ульях.

Алексей Титович говорил мне несколько раз с обидой: «Вы бы в городе среди рыбаков какой-нибудь кооператив организовали. Договорились бы не безобразничать... Разве ж так делают нормальные люди!». Я ответил шутя, что мол рыбаки все ненормальные, но он шутки моей не принял... Если бы только загубленные пчелы! А подвесной мост через Грязную, который разломали и растащили на костры! А валежник в полстах метров от реки! Только после одного выходного дня на льду реки остались бутылки, более десятка жестяных и стеклянных банок, прочий мусор. Половодье смочет. Куда! В Томь, о чистоте которой столько пишем и говорим мы в последнее время.

Светлеет вода в Грязной позже, чем в Заломной. Четырех-пятикилометровый участок, по которому течет она перед впадением в Томь, заболочен. Вода в озерах и болотах, настоенная на травах до цвета чая, да глинистые низинные берега замедляют осветление реки. Кстати сказать, это место было выбрано не случайно, когда несколько лет назад выпустили сюда бобров: и осины много вдоль реки, и озера есть проточные и заливные, и родники; глухомань, почти полное безлюдье, согра.

— Здесь вот и выпустили их, — рассказывал мне Николай Федорович Солонович, депутат сельсовета, ивановский старожило, — поплыли бобры быстро вверх по течению, словно торопились осмотреть новые места...

Да только в весеннее время по неширокой, но глубокой Грязной забираются вверх иногда моторные лодки. Постукивают сильные моторы, постреливают ружья. Глухомань, а вот не захотели здесь расселиться бобры, откочевали дальше, хотя кое-где и начали уже строить хатки. Выходит, спугнули новоселов.

Шесть километров от устья Грязной мы с ивановским старожилом Николаем Александровичем Горбуновым прошли за полдня. Шли по старым зарубкам, от дерева к дереву, проваливаясь в болоте по пояс, прыгая с кочки на кочку, пробираясь среди кустарника и частогола осинового молодняка. Глушь. Непаром эти места называют «таежиной». Тишина. Комарье. Мошкара. Оводы. И вдруг треск, гром. Из-за поворота — моторная лодка. Три добрых молодца дружно вопрошают, подчалив к нам:

— Ну как, харьюзишки есть?

Мой проводник сердито пожимает плечами, а я отвечаю:

— Вода мутная. Мы не рыбачили.

Веселый молодчик советует:

— Надо подниматься выше, там чище! — Немного помолчав, добавляет, словно оправдываясь за свою технику: — Вот шпонки надоело менять. — Привычно дергает шнур, ревет мотор, и лодка быстро исчезает в зеленом коридоре, только гул ее еще долго плывет над лесом...

— Ну что, Николай Александрович, — нарушил я молчание, — далеко еще до твоего особенного ледяного ключа?

— А ты бы спросил у своих городских. Они все знают. Где чистая вода, где льдистая... — и вдруг выругался, — за харьюсом... на моторе!..

Я понимал недовольство пожилого человека, вся жизнь которого прошла здесь, и таежные тропы, ключи, озера ему знакомы лучше, чем улицы иному старожилу города, а видеть в это время здесь лодку — для него просто дико: птица — на гнезде, рыба — на икромете.

К слову будет сказано, официально у нас на Томи разрешено вождение маломерных судов обычно с первого июня. И тем более странно, что и до этого моторные лодки на реке — нередкое явление. А как же запрет! Оказывается, у многих подочников имеется разрешение. Причины тому смехотворные: у одного — дача, другой — на именины, третий на свадьбу...

По-моему, запрет есть запрет, и исключения быть не должно.

Грязная действительно река хариусная. На речке нет таких широких плесов, как на Заломной, зато омуты глубокие, и они не замерзают даже в самые суровые морозы. В иные зимы лед на реке бывает толщиной до восьмидесяти сантиметров, а под ним — до двух метров воды. Вот и чувствует здесь себя знаменитая сибирская форель превосходно. В Грязной, как в Заломной и Змеинке, водится редкая рыба — речная минога, а это еще один показатель особой чистоты воды.

Пятьдесят с небольшим километров пробегает река от истока до устья, принимая справа более двадцати крупных ручьев. Самые известные ключи: Калашников, Конский, Лосинный, Глухой, Косачий. Большинство же ручьев без имени, и есть надежда, что какой-нибудь из них назовут Бобровым. А случится это тем раньше, чем тише будет на реке, ведь для нее моторная лодка — как океанский корабль для Томи. В Большую Грязную слева впадают Средняя Грязная, Мостовушка, Малая Грязная и десятки мелких ручьев и ключей. Надо сказать еще, что вдоль берегов реки родники бьют на каждом шагу, вода в них студе-

ная в самые жаркие дни и вкуса необыкновенного, как воздух, наполненный то сладковатым ароматом цветущей акации, то горько-пьянящим — черемухи, калины, смородины и таволги.

Все эти речки, ручьи, ключи и родники, которые несут свою чистую воду в Грязную, напоминают мне маленьких трудолюбивых пчел, собирающих нектар цветов. А чистая вода — нектар земли.

Речка Змеинка во многом уступает своим сестрам — Грязной и Заломной; она короче их, мельче, но вода в ней такая же чистая. А познакомился я с ней в то же лето, что и с Грязной. Если Грязная вначале произвела на меня грустное впечатление, то Змеинку я вообще не признал за речку. Так себе — ручеек, впадающий в Томь. Но когда я прошел метров сто по ручью, то наткнулся на странное сооружение: вроде плетеного забора, с мордушкой на середине. Так я впервые познакомился с «заездками». Я позвал к себе товарищей и показал рыбную западню. Один из них приподнял «морду», и оказалось, что она полна рыбы. Горловина была обращена против течения. Значит, рыба шла из этого самого ручейка, а не поднялась из Томи. «Вот тебе и ручеек!» — удивились мы. Вечером на «наш огонек» пришел крупный мужчина. Он без всякого вступления сказал:

— Если еще раз тронете «морду», головы поотрываем! — И так же неожиданно, как и появился, исчез. Говорил он во множественном числе, значит, решили мы, был не один. Рыбу мы из его «морды» не брали, а вот как он узнал, что мы смотрели ее, было загадкой. Мы поспорили и сошлись на том, что личную собственность трогать нельзя.

Об этом я рассказал Коле Иванову, когда мы с ним путешествовали по Заломной и Мунашкиной.

Паренек сильно удивился.

— Мы не имеем права разрушать «заездки!» А кто имеет право?

Я не знал. Наверное, рыбабзор!

— Вы просто струсили! — воскликнул Коля. Переубеждать было его напрасно. И я сейчас, пользуясь случаем, хочу повторить его вопрос:

— А правда, кто имеет право разрушать эти самые «заездки»!

Ведь они уже становятся не только способом лова рыбы, но и пушных зверей. Я знаю, например, что возле Комаровки нынешней зимой в морды «заездков» попало восемь норок и много ондатры. Боюсь, что этот пример может стать заразительным.

Таким было мое самое первое знакомство с речкой Змеинкой. Позже я узнал, что она

не такая уж маленькая. В ее омутах много рыбы, в том числе хариуса. Хариус заходит в весенний разлив, мечет икру и частично остается до осени.

Змеинка образуется из слияния Малой Змеинки и Большой. В верховьях, в самой тайге, трудно даже проследить за речкой. Только зеркала омутов да звериные тропы вдоль берегов говорят о ней. А какая здесь колба! Крупная, в палец толщиной, сочная, вкусная, она хранит все запахи тайги, когда принесешь домой. Если идут за колбой или спрашивают, где ее брали, почтительно отвечают: «За Змеинкой-речкой». Тем самым подчеркивают достоинства речушки.

Я, как мог, рассказал о трех маленьких речушках. Все лучшее, что я находил в одной, можно было отнести в той или иной мере к другой, но самое большое достоинство их — чистая родниковая вода, которую они несут в матушку Томь.

Чтобы жило дерево, недостаточно беречь только ствол, беречь нужно корни. Такими маленькими корешками у нашей Томи и являются Змеинка, Заломная и Грязная.

Заканчивая заметки, хочу сказать еще, что больше всех повезло Заломной. Она воспета в картинах заслуженного художника РСФСР Виктора Сергеевича Зевакина.

Пусть же эти речки сохраняются не только на полотнах художников и не только в нашей памяти.



Владимир Матвеев

СЕРЬЕЗ В ШУТЛИВОЙ ОПРАВЕ

Работает в одном строительном тресте бригада Василия Портянкина. И бригадир там, по мнению начальника отдела кадров, — кремень, и коллектив спаянный, но требования уж очень жесткие. Только пройдя через них, можно стать настоящим рабочим. Заманчиво попасть в такую бригаду, а вот новички не выдерживают испытания, уходят раньше времени.

Не трудности их пугают — традиция: изволь по поводу и без повода принимать участие в общей попойке. Откажешься — сочтут, что других не уважаешь, выше других себя ставишь, хочешь выделиться. Руководство треста смирилось с позорной традицией. И когда к тому же начальнику отдела кадров приходит за расчетом не вынесший постоянных возлияний паренек, он слышит:

— Эх, до чего же хлипкая молодежь пошла!

Парадоксальная ситуация. И не молодой сатирик Анатолий Паршинцев, у которого в 1981 году в Кемеровском книжном издательстве вышла первая книга юмористических рассказов «Симпозиум», придумал все это. Тут в качестве автора выступала сама жизнь. Анатолию почти не понадобилось прибегать к приему заострения факта, что-то слишком додумывать. И кто возразит против злободневности, современности и смешной и горькой истории, описанной в рассказе «Жесткие требования»!

Пришедшая в книжку с газетной полосы, сыгравшая когда-то свою конкретную роль в борьбе с одним из злейших пороков, эта вещь осталась в строю. Быть может, приняты «строгие меры» по отношению к какому-то бригадиру в каком-то известном тресте, но живуча пошлая традиция, извращает благородное понятие «настоящий рабочий», отравляет людям жизнь.

Значит, рано сатирику складывать свое острое оружие — поединок продолжается. И в меру творческих способностей участвует в схватке за все доброе, честное, здоровое кемеровский автор.

Восемнадцать юмористических рассказов... Да, по преимуществу они веселы, забавны, вызывают улыбку, смех, но и задуматься заставляют. Очень уж условно подразделение на сатиру и юмор. В лучших рассказах сборника за внешне мягкой манерой обрисовки отрицательных типов, комических положений, угадываешь беспощадную иронию, бескомпромиссное издевательство над мерзостями быта, пережитками разного рода.

Смешон «лучший рационализатор» Федор Наковальнин из рассказа «Четвертовый, диаметрально меньший», но как порождение бездушного, формального отношения некоторых руководителей к творческой инициативе он опасен, вреден для государства, дискредитирует идею рационализации и изобретательства.

Находчивый проныра, пользуясь заумным, витиеватым слогом, оформляет как творческие, новые, самые заурядные предложения, получает за это солидные вознаграждения, откровенно издеваясь над теми, кто его «рации» утверждает, абы по ним был план выполнен, абы они производили внешний эффект.

Вот на рукоятку молотка, чтобы было удобнее держать ее в руке, насажен обыкновенный шланг. Никому бы и в голову не пришло увидеть в таком пустяке открытие. Теперь обратите внимание, как вдохновенно описал свое «изобретение» Наковальнин: «Орудия труда, которые применяются в данное время для забивания гвоздей, распрямления металлических или иных изделий, от долгого употребления в процессе производства становятся склизкими, и производительность труда рабочего снижается. Во избежание подобных эксцессов предлагается на вышеуказанном орудии труда закрепить специальным креплением четверговой, диаметрально несколько меньший диаметра держалки орудия труда кусок шланга наивысшего давления...»

Если бы мне не довелось самому знакомиться в свое время с благоглупостными рекомендациями, инструкциями, глубокомысленными рассуждениями по поводу выведенного яйда, я бы Федору Наковальнину не поверил, подумал бы, что за его спиной прячется охотий до придумок автор. То-то и горько узнавать о подобных явлениях, что они бытуют, да еще более отвратительны по сути, чем изображены в рассказе.

Вот эта манера письма без нажатия, когда не замечаешь грани между источником темы и тем, что явилось на бумаге, свойственна большинству рассказов Анатолия Паршинцева. Он не стремится поразить ваше воображение сногшибательными положениями, традиционен в добром понимании этого слова.

Предельный лаконизм, завершенность мысли, простота языка составляют самое отрадное впечатление. Это при остроте, злобе дня во многих рассказах. Я бы назвал их миниатюрами. Здесь нет развернутых характеров, сюжеты держатся на четко обозначенном

стержне замысла, сюжет «закручен» до предела, концовка зачастую воспринимается как выстрел и объясняет то, что сначала представлялось загадочным, невероятным.

Сошлюсь на тот же «Симпозиум», послуживший названием книжки. Некто Пескарев, совершенно трезвый, во всех отношениях положительный человек, закрылся ночью в ванную, набрал воды, и вскоре оттуда стали доноситься странные выкрики:

«— Подсечка! Подсечка! Ах ты окаянная!»

Жена, заподозрив, что ее супруг не в своем уме, вызывает врача, чтобы увезти больного в клинику. Вскоре и сам врач, и его помощники присоединяются к занятиям мужа — закидывают в ванну удочку, восторгаются новой блесной. И так всю ночь. А под утро в больницу угодила сама хозяйка.

Оказывается, вся эта компания была из породы рыбаков. Всем прочим трудно понять их одержимость и не мудрено принять за ненормальных.

По сути тут анекдот из рыбацкого быта, послуживший толчком для написания художественно достоверной миниатюры, несущей заряд солнечного смеха. И никто не упрекает сатирика в том, что он наряду с социальными проблемами отдает щедрую дань просто юмору, шутке, подслушанной у костра побаске, рассчитанной на то, чтобы вызвать в слушателях задорное настроение. Благо, не были бы такие вещицы пустопорожними, зубоскальными, пошловатыми.

Юмористические рассказы можно воспринять по-разному. Настроившись на развлекательную волну, легко проглядеть второй план и ошибочно обвинить сатирика в пристрастии к «избитым» темам, к банальным героям.

Казалось бы, примитивна картина подъема на скалу приятелей Леши и Пети из рассказа «Привет потомкам!». Они карабкаются вверх с неимоверным усилием, рискуют каждую минуту сорваться, изувечиться. Железное усилие, выдержка, ясно поставленная цель — достичь вершины любой ценой — наконец увенчались успехом. И что же? Выяснилось, что с обратной стороны на скалу вела удобная тропинка, протоптанная сотнями туристов.

Выходит, сложности преодоления препятствия были ложными, никому не нужными. Делали это Леша с Петей не ради тренировки или собственного удовольствия, но в полной уверенности, что они первопроходцы, что их имена достойны быть высечены на покоренной вершине золотыми буквами.

Положа руку на сердце, кто из нас не попадал в подобное положение, не ломился в открытые двери, не изобретал велосипеда! Для меня юмореска «Привет потомкам!» интересна не столько сама по себе, сколько своим никогда не стареющим подводным содержанием, своей морально-философской основой.

«Навстречу клиенту», «Подзащитный», «Молодой специалист», «На какой я должности?» — эти и некоторые другие рассказы продолжают стрелять в цель. Низкая культура, формализм в проведении отчетно-выборных профсоюзных собраний, бездушное отношение к молодым специалистам, нежелание создать для них нормальные бытовые условия, должностная неразбериха, бюрократизм в работе с кадрами — разве это на сегодняшний день устарело?

Приходится лишь сожалеть, что Анатолий Паршинцев, владея в достаточной степени сатирическим пером, еще робко ведет огонь по верно найденным мишеням — осточертевшим недостаткам. Говорю об этом не потому, что хочу в бочку меда добавить ложку дегтя, а потому, что вижу неиспользованные сатирические резервы, топтание на месте, пока слабую попытку идти в глубь замысла, брать налима не за хвост, а за жабры.

От иронии, издевки над следствием надо нащупать путь и к самой причине позорного явления. Иначе происходит смещение удара, получается как в известной присказке — «это стрелочник виноват».

Колоритно, зримо обрисован слесарь-сантехник — хам, рвач и пьяница из рассказа «Еще раз про Федю», но и только. Сотый

раз вытаскивать на свет хрестоматийного для сатиры типа и не попытаться ответить на вопрос — почему он возможен — значит стрелять вхолостую. Феде от этого ни холодно, ни жарко. Тут не обойдешься без критического анализа, без проникновения в существо деятельности (а точнее бездеятельности) определенных коммунально-бытовых служб. Федя-то — их порождение.

И потом. К чему это распространившееся поветрие — закреплять за определенными прекрасными именами (Федя, Вася, Миша) непременно отрицательную характеристику? Что ни Федя или Вася — то и дурачок-пошлячок, никчемный человечиска. Надо ли автору со вкусом следовать за расхожей модой, насаждаемой сочинителями низкопробных острых эстрадного толка?

Стал кочующим и болтун вроде Сучкова из рассказа «Встреча», собирающий сплетни о творческих людях, сам себя кем-то считающий, дающий советы, как и о чем писать. Рассказ открывает книжку и, хотя бы поэтому должен настроить читателя на восприятие тонкого юмора, задать, что называется, тон. Увы, «Встреча» такого знакомства с автором не сулит, эта вещичка «проходная», ей бы место где-нибудь в середине сборника, а то и вообще за его пределами.

Не найдена удачная концовка в юмореске «Сапожки», отдают мелкотемьем, расплывчатости по идейной сути миниатюры «Как бы чего не вышло», «Когда жена — учительница», «Жалоба», «Ох уж эти дети!». Увлечение развлекательной юмористикой заманчиво, но пагубно для боевого жанра.

Лучшими своими рассказами Анатолий Паршинцев доказал, что он не случайный человек во «вредном цехе», что он на трудном, но правильном пути. Любое дарование, сатирическое в особенности, — редкость, и как оно разовьется, какие плоды принесет, зависит прежде всего от самого автора. Я как читатель верю в него, жду новой встречи.



Бронислав Абрамов

ПОПУТНАЯ МАШИНА

Сатирический рассказ

В один прекрасный субботний день без пяти минут кандидат исторических наук Юрий Иванович Трошкин отправился с женой и дочкой утренним автобусом за город по грибы.

Сошли Трошкины возле какой-то деревеньки, приютившейся у соснового бора.

Пройдя деревеньку, они углубились в бор. Юрий Иванович почувствовал, как призывно и сладко защемило в груди. Вдруг вспомнились детские годы, деревушка, затерявшаяся в таежной глухомани, куда мать забралась, получив в начале войны похоронку на отца. Видать, думала, что на подножном корму будет легче кормить детей, да и душа, наверно, потребовала уединения и тишины. И тайга кормила их! Кедровые орехи, ягоды, грибы — сколько их Трошкин набирал! А коренья, а разные съедобные травы!..

Юрий Иванович очнулся от воспоминаний, услышав странные звуки. Посмотрел: жена с Нинуськой ползают на коленях вокруг пенька и тоненько повизгивают. Определив, что грибов много, Трошкин скомандовал брать только маленькие, молоденькие грибки. И грибной понск начался! Вначале бестолковый и суетливый, но стараниями Юрия Ивановича понемногу приобрел организованный, чуть ли не профессиональный характер.

Венцом грибного поиска был красавец боровик, найденный Нинуськой. Крепкая коричневая головка, гладкое приземистое туловище и ни единой червоточинки. По правде, высмотрел-то его Трошкин, но так умело навел на него дочку, что даже у Тамары не возникло подозрений.

Они вышли на дорогу и вскоре подошли к автобусной остановке. Здесь уже толпились грибники, и Трошкин с беспокойством подумал, что уехать будет непросто. Так и оказалось.

Первый автобус был так набит, что протиснуться в него никто и не пытался, второй прощелестел мимо, даже не притормозив.

— Знаешь что, Тамарик, — предложил Трошкин, — давай-ка используем вернейший способ передвижения — пешком. Всенепременно кто-нибудь подвезет.

Они пошли по обочине шоссе. Мимо них по направлению к городу одна за другой проносились машины, в основном «Москвичи», «Жигули» и «Волги», но, как еще издали определяла Тамара, свободных мест не было. Нинуська на солнцепеке мигом раскисла, и Трошкину пришлось взять ее на руки, Тамара понесла корзину. У Юрия Ивановича вопреки поговорке о том, что своя ноша не тянет, быстро задеревенели ноги и затекли руки, не лучше чувствовала себя Тамара.

— Это тебе, Юрочка, не Тарле почитать, — «посочувствовала» она мужу, заметив, что тот сдает, и думая колким разговором подбодрить его.

Вдруг позади послышался легкий шум автомобиля. К ним, сбавляя скорость, подкатывали темно-вишневые «Жигули». Свободные, без единого пассажира! Трошкины синхронно вскинули руки, хотя голосовать было ни к чему: машина уже остановилась. Водитель, средних лет, тугощекий, плотно скроенный мужчина, распахнул дверцу и жизнерадостно закричал:

— А, грибники! Охота пуще неволи? Если до города, грузитесь по-быстрому, моя повозка в момент домчит! Как-никак, восемьдесят лошадей!

Трошкины засуетились. Тамара с Нинуськой решили повольготнее устроиться на заднем сиденье, Трошкин сел рядом с шофером, пригласив корзину в ноги.

— Ого, сколько набрали!— восхитился шофер, включая скорость.— И даже белые есть! Слышал, по питательности они с мясом спорят...

Юрий Иванович подтвердил, хотел было поддержать разговор, но словоохотливому шоферу, видимо, хотелось поговорить одному.

— А я вот и машину имею,— начал он свой монолог,— а в лес еще не ездил: то мотаюсь по дорогам, то под машиной чухаюсь. Седня только из ремонта, одних знакомых до «Орленка» добрасывал, а из лагеря никого не взял, повезло вам, стало быть. Да, жизнь-жестянка, все куда-то торопимся, ругаемся, нервы друг другу рвем... Сейчас забота — сыну на свадьбу машину купить, а начальник — стервозный мужик!— ходатайство не подписывает: собственник, говорит, ты, Махринин, производств для тебя — ноль. И откуда, мол, у тебя такие деньги...

Увидев, что его собеседник откровенно клюет носом и совсем не слушает его, спит сзади и женщина с ребенком, шофер обидчиво замолчал и включил радио. Сочный баритон сдержанно, с большим чувством запел: «Мы люди большого полета...» Трошкин вздрогнул. Шофер сказал:

— Что, разморило? Подъезжаем. Вам куда? Подходит, если на Космической тормозну, на остановке?

Минут через пять машина остановилась. Тамара с Нинуськой вылезли и заторопились на остановку. Трошкин, поблагодарив хозяина «Жигулей», к которому уже проникся искренней симпатией, взялся за ручку дверцы.

— А с расчетом как же?— услышал он удивленный голос.— Что я, за спасибо всю семью твою вез?— Шофер сейчас не улыбался, глаза его холодно и твердо смотрели на Трошкина.

— Послушайте, товарищ...— Трошкин, оторопев от метаморфозы, приключившейся с водителем, судорожно сглотнул слюну и с лихорадочной поспешностью стал шарить по карманам, твердо зная, что никаких денег там

нет.— Послушайте, тут такое дело... У меня только на автобус, вот... Подумали, зачем в лес деньги...

Шофер, дернув массивным плечом, вызверился на него:

— Издеваешься? Убери свои копейки, не срамись!

Трошкин, погибая от стыда, продолжал косноязычно уверять, что денег они не захватили, и ожесточенно искать их по пустым карманам. Шофер ожидал, с презрительно-иронической усмешкой наблюдая за ним. Вдруг взгляд его остановился на корзине.

— Ладно уж,— сказал он снисходительно,— давай в уплату грибки, на пятак поди потянут. Слышал, они с мясом спорят...

Не ожидая ответа, он быстро и ухватисто взял корзину и стал высыпать грибы в невесть откуда взявшийся полиэтиленовый мешок. Мелькнул красноголовый подосиновик, за ним сухой груздь, ярко-желтое семейство лисичек, Нинуськин красавец боровик...

Трошкин снял очки, снова надел их, зачем-то опять полез в карман.

— Послушайте, вы... вы нехороший человек!— выпалил он, не слыша собственного голоса.

— Что-о?— Шофер расхохотался.— Ну и ну, за мое хорошее он еще и ругается. Ты откуда свалился такой, а?

Он взглянул на Трошкина и торопливо ответил забегавшие глаза.

— Но, но, ты не очень, не очень!.. Видали мы и поздоровше тебя...

Трошкин вырвал из его рук пустую корзину, изо всех сил хлопнул дверцей. «Жигули» тотчас рывком взяли с места и, чуть не врезавшись во встречный грузовик, скрылись за поворотом.

Трошкин немного постоял на тротуаре, переживая неожиданную тяжесть у сердца, потом пошел к остановке, откуда ему нетерпеливо махали руками жена и Нинуська. Подходил их автобус, номер шестнадцатый.

Владимир Ширяев

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я вышел и оторопел:
то крупными, то мелкими
с небес посыпалась капель
монетками, монетками!

Перебираю капитал,
капель общенародную.
Он травку вдоволь напил
и почку желторотую.

Чтоб навсегда искоренить
корысть и зависть лютую,
нам деньги надо заменить
апрельскою валютою.

Чего б хотела ты? Теперь
все решены задачи.
— Берите, продавец, капель.
Пожалуйста, без сдачи!

ВОЛКИ

Хотелось кричать, но невольно
страхом сводило щеки:
меня настигали волки,
зубами, как счетами, щелкая.

Прикидывал я: остались
до них — ну, метры, решительно,
На плечи мне лидер стаи
запрыгнул легко и решительно!

БАЛЛАДА О ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

В космическом море
блуждает планета.
Там холод, как в морге!
Там воздуха нету!

До этой планеты
парсеков до черта!
Но села ракета
как раз по расчетам.

Реветь перестали
приборы. И трое
в скафандрах из стали
вышли — герои.

Глянули в дали
странного мира.
И вдруг увидели...
оурук «Памира».

Сгущались потемки...
Кэп молвил в печали:
— Здесь наши потомки
уже побывали.

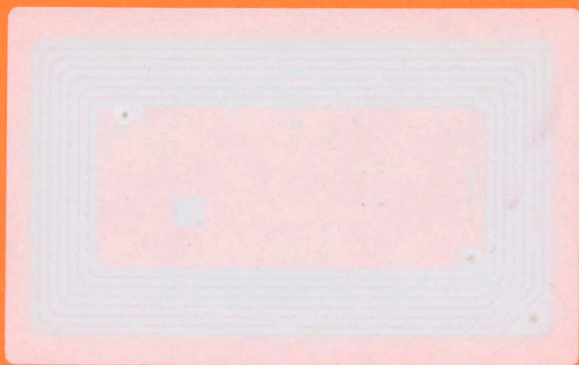
Рванул когтями умело
мое пальтишко немодное!
...А я рассматривал медленно
его волевую морду.

Зубы — как у пилорамы!
Глаза — два дула наганных!
Шепнул я: «Дружок, не пора ли
понять, что так — негуманно?»

Пощекотал за ухом,
в пасть карамельку сунул.
Вначале глядел он сухо,
внезапно — заплакал глухо.

...Лес расступался рядами,
я шел — усталый, довольный.
А где-то во тьме от рыданий
изнемогали волки.





НАШИ АВТОРЫ

Колмогоров Николай Иванович. Родился в 1948 году в Кемерове. Служил в армии, работал лесосплавщиком, разнорабочим, слесарем, литсотрудником многотиражных газет. Автор книги стихов «На земле светло». Живет в Кемерове.

Полунин Иван Стефанович. Родился в 1941 году в Курской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор книг стихов «Февральская свирель» (г. Кемерово) и «Прилив» (г. Москва, изд. «Современник»). Живет в Кемерове.

Ибрагимов Александр Гумерович. Родился в 1947 году в д. Спиченково Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор книги стихов «Буквы одуванчика». Живет в Кемерове.

Монсеев Виктор Максимович. Родился в 1939 году на Украине. Закончил Кемеровский индустриально-педагогический техникум. Работает корреспондентом газеты «Кузбасс». Автор книги прозы «Ярыгин камень».

Ширяев Владимир Михайлович. Родился в 1949 году на Алтае. Окончил Томский государственный университет. Журналист. Печатался в газетах. Живет в Кемерове.

Сорокин Михаил Ефимович. Родился в 1933 году в Днепропетровске. Окончил Томский государственный университет. Работает в Кемеровском институте культуры. Кандидат исторических наук. Публиковался в журналах «История СССР», «Сибирские огни» и альманахе «Огни Кузбасса».